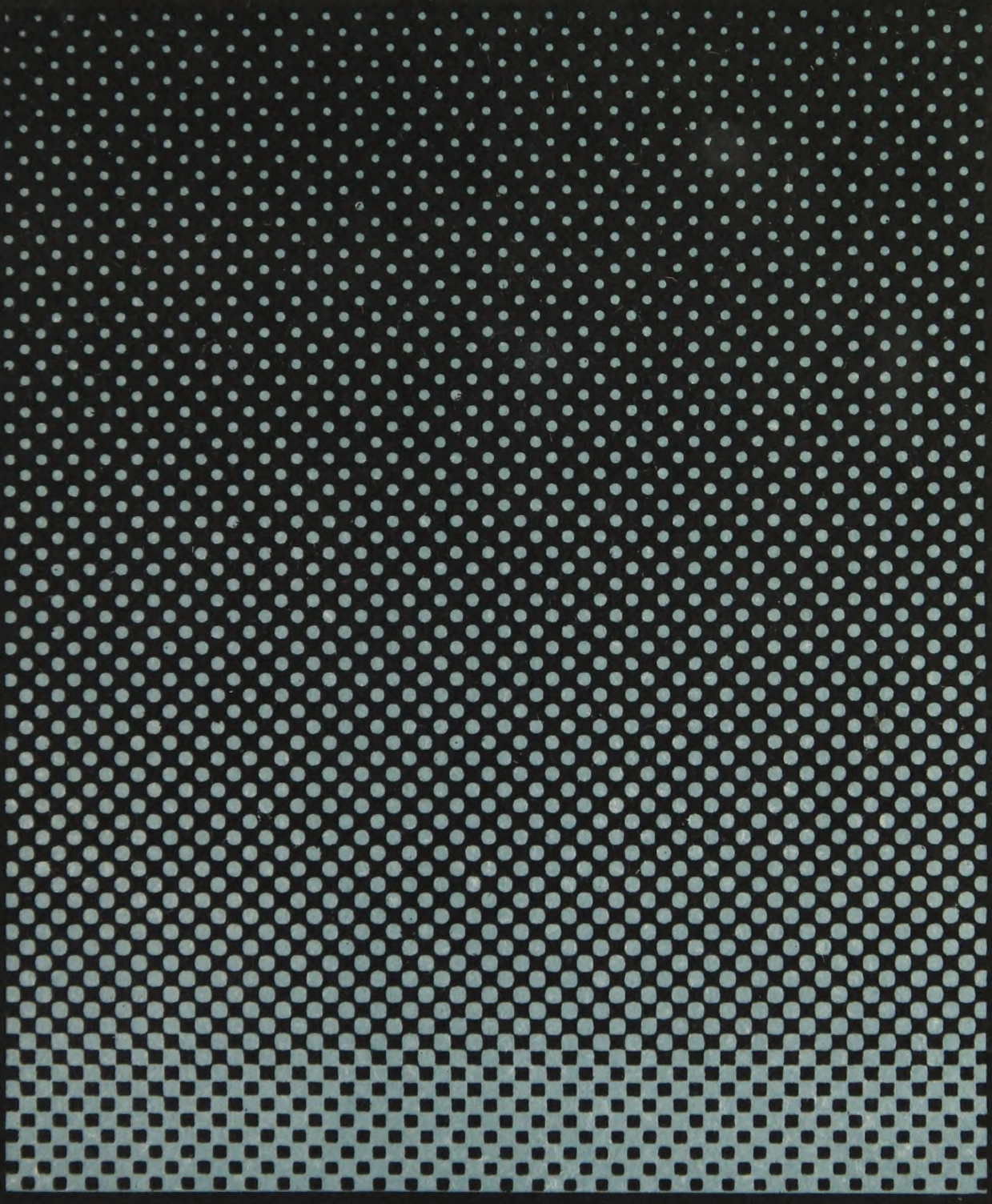
СВЕРКАЮЩЕЕ СЛОВО



СВЕРКАЮЩЕЕ СЛОВО

MIRDZOŠAIS VĀRDS

TEKSTI ĀRPUSKLASES LASĪŠANAI
KRIEVU LITERATŪRĀ 10. KLASĒ

RĪGA «ZVAIGZNE» 1987

83 3K7z721
Mi 765

Sastādītājs *A. Semjonovs*
Recenzents ped. zin. kand. *A. Gusevs*

M $\frac{4306020300-150}{M802(11)-87}$ 87

© «Zvaigzne», 1987

Брал человек
Холодный, мёртвый камень,
По искре высекал
Из камня пламень.
Твоя судьба
Не менее сурова —
Вот так же высекать
Огонь из слова!
Но труд ума,
Бессонницей больного, —
Всего лишь дань
За радость неземную:
В своей руке
Сверкающее слово
Вдруг ощутить,
Как молнию ручную!

Николай Рубцов

УВАЖАЕМЫЙ ДЕСЯТИКЛАССНИК! Ты уже прочёл стихотворение Николая Рубцова и наверное заметил, что слова, давшие название сборнику, взяты из него. В книге «Сверкающее слово» русские писатели, о которых ты узнал или ещё узнаешь на уроках литературы, сами выступают в качестве героев.

Разные по возрасту, по степени мастерства и таланту авторы — советские писатели и поэты — рассказывают о том, какими были мастера слова XIX века, размышляют над причинами бессмертия творчества Тургенева и Чернышевского, Некрасова и Достоевского, Чехова и Толстого.

Из повести Юрия Гаецкого «Ранние метели» ты узнаешь, как пришли в творчество Ивана Сергеевича Тургенева герои «Записок охотника», других его повестей и романов.

Повесть о Чернышевском написана внучкой великого

революционера Ниной Михайловной Чернышевской. Её отец, Михаил Николаевич Чернышевский, в 1918 году передал в дар Советскому правительству дом, в котором родился Николай Гаврилович, а также все имевшиеся в семье документы, связанные с именем Н. Г. Чернышевского. Нина Михайловна хорошо знала семейные предания, пользовалась редкими краеведческими и архивными документами, записывала рассказы саратовских старожилов. Всё это послужило основой для достоверного и увлекательного повествования.

«Властитель дум» — так назвал Александр Таланов небольшую повесть о Некрасове, чьё слово наполнено глубоким знанием дум и чаяний своего народа, горькой обидой за тех, кто является созидателем всего сущего на земле, страстной верой в свой народ. Эстонский же писатель Юхан Смуул доказывает, что Некрасов и сегодня является властителем дум не только русского народа. Его стихи звучат в эстонской деревне, они близки и понятны людям потому, что это — слово о человеке вообще, о его праве на счастье.

Марианна Басина, автор документальных повестей о русских поэтах и писателях, вводит тебя в мир Федора Михайловича Достоевского.

Непросто рассказать о таком великом русском писателе, как Лев Николаевич Толстой. По-разному к пониманию его личности и творчества приходит современный читатель. О молодом офицере русской армии графе Льве Толстом, вместе с защитниками Севастополя прошедшим через суровые испытания, пишет Валериан Захаржевский. Автор «Яснополянских этюдов» Галина Езерская долгое время работала экскурсоводом в доме-усадьбе Льва Николаевича Толстого, поэтому её воспоминания о разных по характерам и убеждениям посетителях музея расскажут тебе, что же приводит людей со всех концов земли поклониться автору «Войны и мира», «Анны Карениной», «Воскресения»... А в небольшом рассказе Георгия Медведева «Беспалов, топтыгин и Лев Толстой» ты узнаешь забавную историю о том, как взрослый человек, занятый тяжёлой серьёзной работой, вдруг обращается к творчеству Л. Н. Толстого.

Раздел сборника, посвященный Антону Павловичу Чехову, открывается очерком Максима Горького «А. П. Чехов». Очерк-воспоминание рисует Чехова прежде всего в общении с людьми, рассказывает об уме-

нии говорить с ними, отыскать в каждом то, чем он интересен как индивидуальность. Валериан Захаржевский и Инна Гофф каждый по-своему дополняют портрет писателя. Первого интересует образ Чехова-врача («Доктор Чехов»). Инна Гофф в рассказе «Цветы девицы Флоры» поделилась с читателем маленьким, но драгоценным открытием того, как дорожил Чехов добрыми отношениями с близкими ему людьми, как из многообразных контактов с внешним миром рождались замыслы и образы будущих рассказов.

Узнать о том, что же давало писателям второй половины XIX века такую силу, такое умение, чтобы «в своей руке сверкающее слово вдруг ощутить как молнию ручную», или хотя бы приблизиться к пониманию этого, уважаемый десятиклассник, тебе и поможет сборник «Сверкающее слово».

Составитель

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ

ЮРИЙ ГАЕЦКИЙ

РАННИЕ МЕТЕЛИ

(Главы из повести о И. С. Тургеневе)

(в сокращении)

В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

...Новый, 1837 год встретили довольно скучно. Брат Николай, загодя[1] поздравив маменьку и всех домашних, умчался встречать праздник в ресторан Дюмé, куда, по старой привычке, собирались покутить офицеры гвардейской артиллерийской бригады. Маменьке нездоровилось, и, хотя гостей за праздничным столом оказалось достаточно, всё же вечер прошёл вяло и скучно. Выпили по бокалу шампанского, пытались было потанцевать, но разошлись всё же рано...

Снежным и вьюжным пришёл январь в том году. Наметали вьюги сугробами снег по улицам, потом ветер метельными ночами носил его туда и сюда по городу, кидал в окна, в подъезды, в глубокие петербургские дворы, заваливал белыми пухлыми грудами укрытые льдом каналы, речушки, Неву. Стонал, плакался, выл весь январь злой, колючий ветер над Санкт-Петербургом... И внезапно, к двадцатым числам, вдруг стих; лишь слабо, беззвучно кружилась ещё кое-где над мостовыми уставшая от визга метель. Зато к закату поднимались и крепли морозы.

В такой вот хмурый, морозный день, 28 января, вдруг облетела университетские аудитории страшная

[1] загодя (*прост.*) — заранее, заблаговременно

весть. Будто вчера у Чёрной речки, под вечер, встретились в поединке на пистолетах Александр Сергеевич Пушкин и поручик Кавалергардского полка барон Дантес де Геккерен; будто стрелялись противники на десять шагов и поэт тяжко ранен, помирает в квартире своей, что на Мойке, а прощелы́га[1] Дантес остался, мол, цел и забился со страху в голландское посольство. Ещё говорили, что хоть причиной дуэли была, по всему видать, жена Александра Сергеевича, но что всё это вздор — поэта убили по сговору великосветские шалопа́и[2], всю жизнь его ненавидевшие. И что надобно поскорее бежать на Мойку, куда собираются толпами люди со всего Петербурга.

Был уже час пополудни. Схватив у Савельича свою студенческую тёплую шинель, Тургенев кинулся на улицу, вскочил в ожидавшие его у подъезда одноконные санки и велел кучеру Капитону гнать поскорее на Мойку,

Там, вдоль набережной, у дома Волконской, уже толпился народ. Несколько карет и наёмных извозчиков жались к тротуару и чугунной решётке, ограждавшей набережную. Толпа глухо шумела. Конные жандармы кучкой расположились поодаль. А среди толпы уже шныряли встревоженные «му́хи»[3] в горо́ховых[4] зимних шинелях. Падал снег, завивался в метели над мостовой.

Велев Капитону обождать, Тургенев направился к дому, но протолкаться к воротам, откуда обычно входили в квартиру Пушкиных, не было никакой возможности.

— Что там? Что там? Да ну, читайте! Кто вывесил? — раздались взволнованные голоса неподалёку от Тургенева; он оглянулся — то были два молодца в мещанских бекешах, подпоясанных ремешками. — Экой ты! Громче читай-то, явственно слова выговаривай, кавалер! Знать-то надобно всем, а ничего не слыхать!.. Да тише вы, господа почтенные, слушайте!

Тургенев придвинулся поближе и приподнялся на носки.

Ворота были настежь открыты. Там, в глубине, у маленькой, узкой двери, люди стояли особенно густо.

[1] прощелы́га (*прост.*) — плут, пройдоха

[2] шалопа́й — delveris

[3] «му́ха» — презрительное прозвище агентов Третьего отделения

[4] горо́ховый (цвет) — зеленовато-серый, с жёлтым оттенком

Какой-то отставной солдат в бескозырке, с гвардейскими пышными бакенбардами на исполосованном шрамами лице густым басом читал по складам бумажку, висевшую на двери.

— Да эдак-с ты, кавалер, и к вечерне не дочитаешь! — воскликнул вдруг сосед Тургенева, маленький, щупленький старичок в ветхой чиновничьей шинелишке, смахивая тряпицей набежавшие на глаза слёзы. — Ах, батюшка, ничего-с не понять... Да сделайте милость, кто-либо иной прочитай, господа; ждать-то душа не терпит. Ну, беда! Ах, беда-с!

Огромный верзи́ла[1], несмотря на мороз, в одном приказчичьем суконном кафтане и картузе, вежливо отстранил от двери отставного солдата.

— Вывесил сию бумажку, называется «оповещение», — громко сказал приказчик, — ихний, Александра Сергеевича Пушкина, лакей. При нас то было, поутру, а как он, лакей, прозывается, того доложить не могу-с... В бумажке же оповещено так: «Первая половина ночи беспокойна, последняя лучше. Новых угрожающих припадков нет, но также нет и ещё не может быть облегчения».

— Помилуй, господи! — испуганно охнул всё тот же старичок чиновник, сосед Тургенева, и несколько раз осени́л себя широким, размашистым крестóм[2].

— Да кто там ещё помилует! — с возмущением крикнул один из молодцов в мещанской бекеше. — Застрелили вот Александра Сергеича, не промахнулись, ироды!..

— Эй ты, чего зря лопóчешь![3] — тотчас подскочил к молодцу кругленький низенький человечек в гороховой зимней шинели. — А ну, пойдём-кось, пойдём-кось!

Но молодцы в бекешах немедля нырнули в толпу и пропали...

Застывший, словно бы одеревеневший от горя, со следами замёрзших слёз на щеках, возвращался Тургенев домой по улицам Петербурга.

Он ничего вокруг не видел, ничего не хотел видеть, сгорбившись в санках и подняв воротник шинели.

«Вот и убили Пушкина... Невероятно!.. Не может того

[1] верзи́ла (*разг.*) — высокий и нескладный человек

[2] осени́ть крестóм — перекреститься

[3] лопотáть (*прост.*) — говорить быстро, неясно

быть! Нет, быть того не может, чтоб умер Пушкин, — думал он, леденея. — Не может того быть, нет, нет!»

Но на следующий день, 29 января, в 2 часа 45 минут пополудни Александр Сергеевич Пушкин скончался.

Услышав эту горестную весть от Николашки Серебрякова, раз пять уже бегавшего на Мойку, к дому Волконской, Тургенев внезапно почувствовал, что всё в комнате вдруг закружилось, полетело куда-то, рухнуло. Он сел на постель в совершенном беспамятстве.

Очнулся он тотчас же. Всё было по-прежнему: ледяное солнце светило в окно; Николашка Серебряков стоял перед ним всё так же, как прежде; на письменном столе лежали, как прежде, аккуратными стопками книги его и тетрадки; и только сердце как-то странно дрожало и билось в груди, замолкало и снова билось, как подстреленная птица в забрызганной кровью траве...

«Боже мой! — подумал Тургенев. — Боже мой! Ещё так недавно я видел Пушкина у Плетнёва — смеющимся, полным жизни, слышал его звонкий голос... И потом на концерте в Дворянском собрании, у колонны, хмурым, чем-то расстроенным... И вот он убит... Мёртвый Пушкин! Невероятно! Чудовищно!»

...Толпа на набережной Мойки всё густела и густела. Но за воротами дома Волконской люди становились один за другим и так, в молчании, входили в узкую дверь квартиры и через кладовую, буфетную и сени достигали передней, где стоял гроб.

Когда Тургенев приехал на Мойку, уже кончался субботний день, 30 января, первый день после смерти поэта.

Зажигались на набережной редкие огни фонарей, и в домах то тут, то там уже вспыхивали жёлтые окна. Опять начинала кружить и постанывать вьюга. Толпа перед домом Волконской заметно редела.

Именно этого часа и дожидался Тургенев, чтобы войти в квартиру Пушкина одним из последних. Потому что неотступная, тайная мысль, одно нестерпимое желание им овладело.

Он быстро подошёл к двери, поднялся по лестнице и, минуя столовую, очутился в передней.

Почти никого в комнате уже не было. Только старый камердинер Пушкина Никита Козлов стоял в ногах своего покойного барина и неотрывно смотрел и смотрел на его лицо.

Прикрытый по грудь погребальной парчой, Пушкин лежал на подушках легко и спокойно. Курчавые волосы и бакенбарды теперь резко оттеняли его лицо, осу́нувшееся[1], побледневшее, и особенно губы, на которых, казалось, застыла последняя, жгучая обида.

У гроба в высоких подсвечниках горели три тёмно-жёлтые свечи. Чуть-чуть пахло ладаном, воском, ещё чем-то — приторным и пугающим. Была тишина.

Долго стоял Тургенев у гроба, смотрел в лицо Пушкину, плакал беззвучно, не отирая слёз. И ему становилось всё горше и горше...

— Пора, господин, прощения просим, — услышал он вдруг за собой хриплый, простуженный голос Никиты. — Эх, барин, барин, и к чему-с это всё человеку, к чему-с?!

Тургенев вздрогнул, отёр зазябшей ладонью лицо, пришёл наконец в себя...

— Послушай, любезный, — еле слышно сказал он Никите, — послушай-ка... Вот что, голубчик, срежь мне на память локон у Александра Сергеевича... Окажи, братец, услугу.

Видимо, в голосе молодого человека с покрасневшими от слёз глазами было столько искренней скорби, что Никита Козлов тотчас же взял лежавшие на маленьком столике ножницы и, подойдя к изголовью гроба, осторожно срезал свисавшую на лоб Пушкина мягкую прядь.

Бережно спрятав в карман драгоценную ношу и поцеловав холодную, уже каменную руку поэта, Тургенев вышел на улицу.

Метель разыгралась. Она выла, стонала, кружила вокруг дома, по набережной, над застывшею речкой. В мутном северном небе меж тем неслась и клубилась, светясь, другая метель. И вот они обе слились, взвизгнули, заметались над одетым в гранит холодным, загадочным городом — Санкт-Петербургом...

DAHIN! DAHIN![2]

Пятнадцатого мая 1838 года линейный корабль «Николай I» покинул Кронштадтскую бухту и скоро вышел в открытое море.

[1] осу́нуться — похудеть

[2] Туда́! Туда́! (*нем.*) — Этот возглас выражал романтическое желание удалиться в лучший мир, в мир мечты и счастья.

Было тепло. Серые волны, нестрашные и мелкие, почти бесшумно били в высокие борта парохода. На голубом чистом небе сияло ласковое майское солнце, а над волнами кружили, высматривая добычу и резко вскрикивая, хищные морские чайки.

«Николай I» шёл обычным пассажирским рейсом на Травемюнде и Любек.

Белый, нарядный, сверкающий, с высокой трубой, он легко рассекал тяжёлую воду Балтийского моря.

Каюты, матросский кубрик, палубы, капитанский мостик, кают-компания — всё блестело той удивительной морской чистотой, какая всегда присутствует на дорогом пассажирском пароходе с отличной командой.

Правда, палубы, как обычно, были забиты экипажами знатных путешественников — лакированными каретами, венскими колясками, многоместными ландо, — но и это не нарушало порядка, чистоты и нарядности корабля.

Шли плавно, хорошим ходом, и капитан Иенес Шталь, датчанин по происхождению, надеялся прибыть в пункт назначения за четверо суток.

Велев ехавшему с ним в дальний путь дядьке, спасскому фельдшеру Порфирию Кудряшову, распаковать чемоданы и аккуратно разложить вещи в двухместной каюте, Тургенев вышел на палубу.

Там было шумно и весело. Уже затевались дорожные знакомства, игры, дурачества...

Мужчины постарше, удобно расположившись на деревянных диванах, курили сигары или трубки, бездумно глядя на чаек, стремительно кидавшихся в воду за добычей, и на дам, щеголявших платьями последних парижских моделей. Кельнеры пароходного буфета предлагали пассажирам холодные лимонады, мороженое, ликёры, коньяк...

Выбравшись на корму, где не так сильно дул ветер, Иван Сергеевич залюбовался морем. Оно ёжилось, морщилось, выбрасывая то тут, то там ослепительные солнечные блики, а дальше, на горизонте, море курчавилось и пенилось белыми, светлыми барашками, убегавшими вдаль...

Вот, значит, и едет он наконец за границу, в Берлин, — туда, туда, в эту благословенную страну Гёте и Шиллера! В своём дорожном сюртуке, в сафьяновом карманном портмоне везёт он за рубежи драгоценный локон

Александра Сергеевича Пушкина, запаянный в серебряном медальоне, и университетский диплом кандидата, и любезную сердцу страничку, вырванную из апрельского номера журнала «Современник», где напечатал профессор Плетнёв его, Тургенева, первое стихотворение «Вечер»:

В отлóгих[1] берегах дремали волны;
Прощальный блеск зари на небе догорал;
Сквозь дымчатый туман вдали скользили чёлны,
И, грустных дум и странных мыслей полный,
На берегу безмолвный я стоял...

. . . . . .

. . . . . .

В моей душе тревожное волненье;
Напрасно вопрошáл[2] природу взором я:
Она молчит в глубоком усыпленье —
И грустно стало мне, что ни одно творенье
Не в силах знать о тайнах бытия.

«Да, — с тревогой подумал Иван Сергеевич, — да, да истинно так: ни одно творенье, сколь оно к тому ни стремится, а так и не в силах узнать о тайнах бытия... Зачем?.. Зачем всё это вокруг — рождение и смерть, красота мира, его уродства, борьба слабых и сильных, страдания и короткие радости?.. Зачем бегут эти волны, дует ветер, светит жёлтое солнце, кричат эти хищные чайки?.. Зачем, для чего родился, для чего прожил в болезненном забытьи свои мимолётные шестнадцать лет братишка Сергей? Для чего?..»

...Серёжа скончался внезапно в середине апреля прошлого года от жестоких припадков.

...Утром 18 мая отдали почту на острове Рюгене и двинулись по проливу Дер-Бодден к материку, на Травемюнде. Шли последние сутки столь благоприятного морского плавания.

Сытно поев с Порфирием, как обычно, в пароходном буфете и угостившись стаканчиком вина превосходнейшей марки, Иван Сергеевич решил побродить от безделья по лестницам и палубам корабля.

Матросы, в большинстве датчане, под весёлые звуки губной гармоники лихо отплясывали на корме для удо-

[1] отлóгий — спускающийся под небольшим уклоном, не крутой
[2] вопрошáть (*высок.*) — спрашивать

вольствия почтеннейшей публики какую-то крайне забавную датскую польку. У капитанского мостика старый генерал с рыжими крашеными усами самозабвенно хохотал над пошлейшим и вовсе не остроумным анекдотом, какой рассказывал ему, угодливо хихикая, круглолицый чиновник в зелёном фраке. Две хорошенькие девицы в окружении расфранчённых кавалеров безбожно скучали, опираясь, впрочем, о бортовую решётку с подобающим изяществом и мечтательно глядя на низкое красное солнце над горизонтом...

Победоносно закончив несколько трудных шахматных партий с толстым, страдавшим одышкой коммерсантом Мейером, ехавшим по делам в Гамбург, Тургенев спустился в кают-компанию.

Там шла азартная карточная игра.

В синеватом и пря́ном[1] сигарном дыму толпа смеющихся мужчин окружала ло́мберный[2] стол, где «завари́ли банчи́шку»[3] несколько заядлых петербургских игроков.

Невольно залюбовался Иван Сергеевич почти болезненным выражением страсти на ли́цах играющих и той изумительной ловкостью, с какой тасовались, раскидывались по зелёному полю карты, делались ставки, накапливался или срывался банк. А золотые червонцы между тем звенели да звенели и вспыхивали от света уже зажжённых в каюте свечей.

Глядя как зачарованный на стремительно мелькавшие пальцы банкомёта, холёные[4], белые, с огромным топазовым перстнем, Тургенев всё ближе и ближе придвигается к столу.

Тут кто-то осторожно и бережно придержал его за рукав.

Он с досадою обернулся. Плотный, высокий, с толстым добродушным лицом, исколотым оспой, стоял за ним дядька Порфирий Тимофеевич Кудряшов. Его маленькие умные глазки встревоженно глядели на барчука.

— Остерегитесь, Иван Сергеич, — еле слышно шепнул Порфирий. — По горькому опыту ведаю, каково

[1] пря́ный — острый и ароматный по вкусу, запаху

[2] ло́мберный — стол с сукном для игры в карты

[3] «завари́ть банчи́шку» — затевать игру в карты

[4] холёный — ухоженный

после проигрышу-то бывает. Послушайтесь матушку.

— Ах, отстань ты, Порфирий, сам знаю, не маленький! — раздражённо ответил Тургенев, продолжая с увлечением смотреть на чудо-пальцы банкомёта.

— Что зря глядеть-то, молодой человек! — вдруг улыбнувшись, обратился к нему банкомёт. — Присаживайтесь да берите на счастье карту... Ваши ставки, messieurs[1], ваши ставки!.. Прошу-с, молодой человек.

Тургенев опéшил[2].

— Да я... извините, — сказал он, совершенно смутившись, так как в каюте внезапно наступила тишина и все присутствующие, казалось, с большим любопытством ожидали его ответа.

— Месьё, извините, — тотчас осердившись на глупую свою неловкость и овладев наконец собой, обратился Иван Сергеевич к смотревшему на него банкомёту. — Но я никогда не игрывал в карты, месьё, хоть и знаю все правила... Да и матушка мне не велит.

Весёлый, оглушительный хохот был ответом на столь наивное признание.

Бросив карты и откинувшись на спинку кресла, банкомёт в совершеннейшем восторге похлопал несколько раз ладонью о ладонь.

— Так это ж чудесно, молодой человек! — отсмеявшись, сказал он Тургеневу. — Вы имеете много шансов. Ведь к тому, кто, как вы, настолько ещё непростительно молод, что никогда не дотрагивался до карт и кому, опять же как вам, ещё и матушка не велит, — к тому, чёрт возьми, карта идёт как привязанная. Садитесь, тотчас же садитесь к столу, вам достанется куча червонцев... Прошу, господа, потесни́ться... Вот так... Ну-с, делайте свою ставку, счастливчик!

И вот он сидит за зелёным столом с веером хрустящих, новеньких карт в руке. Сердце его неистово колотится, всё вокруг плывёт, как в тумане.

А банк между тем растёт и растёт. Ставки всё увеличиваются и увеличиваются. Груда золота, ослепительно сверкая, возвышается в центре стола.

Он назначает карту. Он бьёт. Вновь удваивает ставку и вновь бьёт... Две жёлтые кучки червонцев уже лежат перед ним.

[1] Господá (*фр.*).

[2] опéшить (*разг.*) — растеряться от неожиданности, испуга

Машинально сгребает Тургенев одну из них, поспешно рассовывает золото в карманы панталон, а другую — всю целиком ставит на карту... и снова срывает банк.

Гулом одобрения наполняется кают-компания. А в разгорячённой голове Ивана Сергеевича лихорадочно проносятся мысли: «Богат, богат! Теперь маменьке не надобно кланяться, выпрашивать деньги. Свободен, наконец-то свободен!»...

Внезапно дверь кают-компании стремительно распахнулась, и кто-то с отчаянием вскрикнул: «Пожар! Пожар!»

В самом деле, из коридора в каюту уже тянуло дымом.

Ошеломлённые[1], испуганные, толкая друг друга, все бросились к выходу. Свечи погасли, опрокинутый кем-то ломберный стол рухнул, и золотые червонцы, звеня, брызнули на пол.

С трудом протолкался Тургенев в коридор, подавленный ужасом, кинулся бежать, сам не зная куда.

Внутренние переборки и лестницы корабля уже горели. Белый ядовитый дым, по которому змеями металось кровавое пламя, слепил глаза, набивался в рот, душил. Крики женщин, плач детей, зловещий треск дерева — сверху, снизу, с боков — холодили сердце.

«Умереть, умереть таким молодым, ничего не свершив!.. Боже мой!» — в смертельном страхе думал Тургенев, кое-как пробиваясь на палубу по уже занимавшейся огнём винтовой лестнице.

Была тёмная ночь. Но два высоких, неистово гудевших столба дымчатого пламени у пароходной трубы ярко освещали палубу, кипевшее за бортом море, позволяя видеть даже далёкие утёсы берега у Травемюнде.

Корабль всё ещё шёл. Однако ветер, рождаемый движением парохода, сильней и сильней раздувал жадное пламя, грозя мучительной гибелью команде и пассажирам. Обезумевшие люди — кое-как одетые мужчины, женщины, дети — с дико расширенными от страха глазами столпились, крича, на носу корабля, где висели в цепях две уцелевшие спасательные лодки.

И тут же, у борта, подчиняясь приказанию своего капитана и обнажив кортики, стояли цепочкой матросы.

— Назад! Назад! Прочь от шлюпок! — то и дело кричал приземистый, могучий в плечах бородатый

[1] ошеломлённый — крайне удивлённый, внезапно озадаченный

боцман. — Спокойствие, господа! Капитан просит соблюдать спокойствие!

Между тем Тургенев, совершенно измученный ужасом и волнением, почти не помня себя, кидался зачем-то то к одному, то к другому борту.

Наконец он бросился к пробегавшему мимо пароходному коку, схватил его за руку.

— Спасите, спасите! — задыхаясь, хрипел он. — Ради бога, спасите!

Но кок, ошалéло[1] взглянув на бледного, перепачканного сажей барчука, что-то крикнул ему, оттолкнул и пробежал мимо.

В полном изнеможении присел Тургенев на ступеньку наружной лестницы.

Силы его оставили. Безжизненно, с почти холодным равнодушием смотрел он теперь на клокотавшую под ним красную пену, на бушующее у трубы пламя, на трещавшие в огне мачты.

«Так вот где придётся погибнуть в девятнадцать лет! — думал он. — Вот она близко — холодная, вечная ночь!»

Тут резкий удар внезапно потряс пароход. Могучий его óстов[2] застонал, готовый, казалось, распасться на части.

Тургенев вздрогнул и, охватив голову руками, прикрыл глаза...

— Что ж вы сидите, несчастный! — вдруг раздался над ним чей-то грубый мужской голос. — Айда за мной, если хотите спастись... Сюда! Сюда!

Следом за почти невидным в дыму человеком Иван Сергеевич полез на верёвочную лестницу, преодолел, шатаясь из сторону в сторону, одну, другую, третью её ступеньки; затем, подчиняясь всем движениям своего спасителя, тяжело спрыгнул на верх одного из экипажей, загромождавших палубу. И так, прыгая с экипажа на экипаж, достигли они наконец носовой части корабля.

Берег был совсем близко, в каких-нибудь двух-трёх верстах от парохода.

Боясь раздувавшего пожар ветра и гибели людей в глубоком проливе, капитан Шталь, изменив несколько

[1] ошалéло — безрассудно, бездумно

[2] óстов — (kuǵa) karkass

курс, с налёта посадил свой корабль на довольно обширную мель.

Застопорили машины. Уже у правого борта, откуда матросы сбросили верёвочную лестницу, единственную, что осталась теперь целой на корабле, теснились женщины, старики и дети, с нетерпением ожидая своей очереди спуститься в большую спасательную шлюпку.

Но с левого борта, далеко внизу, покачивалась на волнах, как хрупкая игрушка, другая лодка, поменьше, и бородатый боцман что-то кричал оттуда, знаками приглашая редких здесь пассажиров рискнуть на отчаянный прыжок.

В самом деле, то было и опасно и нелегко. Линейный корабль «Николай I», выступив из волн, оказался громадиной, и нужно было упасть очень ловко, чтобы не опрокинуть маленькую шлюпку и не разбиться.

С минуту помедлив, Тургенев решительно спрыгнул на якорную цепь, протянутую вдоль борта, и мягко полетел вниз, в медвежьи объятия бородатого боцмана.

Увидев, что юноша, совсем ещё мальчик, не побоялся шумевшей внизу бездны, другие пассажиры рискнули повторить его смелый прыжок. Правда, барышни, кидаясь с якорной цепи, испуганно взвизгивали и долетали до боцмана почти в совершенном беспамятстве.

Наконец шлюпка отчалила от горевшего корабля.

Мелкий дождь заморосил с неба, ничуть, впрочем, не укрощая огня, но зато очень скоро промочил до последней нитки полураздетых усталых людей.

Когда царапнувшие дно вёсла показали, что лодка достигла мелководья, боцман велел пассажирам поскорей вылезать и добираться до берега пешком.

По вязкой, холодной грязи, утопая почти по колена, дотащился Тургенев вместе со всеми до береговых утёсов. Там он упал на мокрую землю и, привалясь к камню, глянул в море.

Уже светало. Невысокие волны, покрытые белой клубящейся пеной, одна за другой перекатывались через камни, спокойно и монотонно ворча. По этим белым гребешкам сновали туда и сюда две шлюпки, выбрасывая на мелководье всё новых и новых пассажиров.

Корабль догарал. Падали, разбрасывая искры, могучие снасти, валилась труба, с оглушительным треском проваливались палубы, погребая под собою багаж, дорогие экипажи, одежду, разложенные по каютам вещи,

бумаги, книги... Там, в глубине, в кают-компании, погибали и золотые червонцы, сулившие юноше богатство и долгожданную свободу.

Но, в конце концов, самое главное — жизнь была спасена.

Вдруг ужасное беспокойство овладело Тургеневым. Не поднимаясь с земли и безучастно глядя на уходивших с горы недавних его попутчиков, он словно бы прирос спиной к камню.

«Портмоне, моё портмоне! — в смятении подумал он. — Ведь выпало ж, конечно, портмоне из кармана сюртука! Да как же ему было и не выпасть при такой суматохе? А там — медальон с драгоценным локоном Пушкина!»

Теперь Иван Сергеевич уже страшился поднять руку, чтоб ощупать карман сюртука. А вдруг погиб медальон? Вдруг и в самом деле сгорело в огне иль похищено волнами всё, что осталось ему на память от Пушкина и что не измерить в цене никакими червонцами!..

Осторожно просунул он наконец дрожавшие пальцы за мокрый борт сюртука... Славу богу! Портмоне было цело...

Между тем солнце всходило над морем. Уже играли и вспыхивали золотые молнии на неоглядном морском просторе.

Тихо и пусто было в море. Только вдали, далеко-далеко, мерцал туманными огоньками остров Рюген, да в том месте, где недавно горел «Николай I», то поднимались, то падали чуть видные розовые язычки уже бессильного пламени.

ЛЮБОВЬ

Три года провёл Тургенев за границей — учился в Берлине в Королевском университете, был в Италии, посетил Швейцарию... Но пришла, наконец, пора возвращаться в Россию...

...С немалым любопытством поджидали между тем в России друзья и знакомые приезда на родину младшего сынка уважаемой Варвары Петровны Тургеневой, по слухам отлично окончившего курс в Берлинском королевском университете.

Ведь недаром же так много лестного об остром его уме и обширных познаниях рассказывал, вернувшись из

Германии, Тимофей Николаевич Грано́вский[1]! Да и Мишель Бакунин с присущим ему пафосом писал о том же приятелям в Петербург и сёстрам в тверское поместье Премухино.

Но вместо серьёзного, хотя, скажем, и молодого учёного, обременённого хитрыми познаниями немецкой науки, явился вдруг — сначала в петербургских, а потом в московских салонах — искусно причёсанный и надушенный бонвива́н[2] в ярко-синем фраке с золотыми пуговицами в виде львиных голов, в светлых клетчатых панталонах, при цветном пышном галстуке и с модным стёклышком в правом глазу.

Презрительно кривя свои мягкие, пухлые, совсем ещё детские губы, зло насмешничал он в мгновенно рождавшихся эпиграммах над всеми устоями и заботами обыкновенной человеческой жизни. Что же касается учёных бесед на светских завтраках и приёмах, то, терпеливо выслушав какого-либо доморо́щенного Спино́зу[3] из лейб-гвардейских поручиков, он отделывался двумя-тремя до невероятности странными фразами, приводившими собеседника в совершенное остолбенение.

Впрочем, мелькнув на одном-двух балах и успев рассказать знакомым барышням несколько забавных анекдотов из трёхлетнего своего скитания по заграницам, он скоро покинул обе российские столицы, отправившись с почтеннейшей матушкой в своё имение Спасское...

...Удивлённо и ласково смотрела Варвара Петровна на сидевшего рядом сына.

Какой же он бонвиван, в самом деле, паркетный шаркун и пустой острослов? Ничуть не похоже. Чушь, право, придумывают в этих скучных салонах, бог с ними!

Вот глядит он, задумавшись, на плывущие мимо поля, деревеньки, пожу́хлые[4], мёртвые дубовые рощи. Нежное, молодое лицо его, обрамлённое длинными вьющимися волосами, печально, а близорукие тёмно-серые глаза,

[1] Грано́вский Тимофей Николаевич (1813—1855) — русский историк, общественный деятель, выступал против деспотизма и крепостничества.

[2] бонвива́н — человек, любящий пожить в своё удовольствие (*фр.*)

[3] Спино́за Бенеди́кт (1632—1677) — знаменитый голландский философ.

[4] пожу́хлый — утративший свежесть, яркость

прикрытые очками в стальной оправе, как будто с недоумением и скорбью рассматривают родную землю. О чём он думает, сын?

А думал Тургенев о многом.

Он думал о жестокой бесснежной зиме прошлого, 1840 года, погубившей дубовые леса-великаны и крестьянские тощие посевы. Он думал о том, что Гегель[1], конечно, велик, но как же вот здесь, посреди этих русских бескрайних равнин, сможет совершенствоваться дух человека, когда человек этот — нищий, голодный раб своего господина.

Мысль его невольно обращалась к дремавшему на облучке рядом с кучером дядьке Порфирию, и сердце Ивана Сергеевича ныло в тоскливой тревоге. Раб, раб! Порфирий ведь тоже раб и останется, видно, рабом. Не помогут ему ни диплом Берлинского королевского университета, ни звание врача, ни великая германская философия...

Ещё он думал о брате Николушке.

Трудно живётся брату в столице. Денег маменька не даёт — осерчала за Аннушку. Видно, придётся Николушке выйти в отставку, гнуть спину по департаментам, чтоб добыть себе хлеб насущный своими руками... Ну, а дети пойдут — что станет Николушка делать? Чиновничье жалованье известно — на него не прожить...

В Спасском никак не мог он привыкнуть, что нет уже старого лутовиновского дома, сгоревшего два года тому назад.

Правда, тем грустным летом, когда его вызвала маменька на время в Россию, он увидел лишь чёрное пепелище, обгорелые доски, обрушившиеся галерейки, остатки фундаментов. Теперь разбиты здесь куртины и клумбы, подрастают молодые, подвязанные бечевой[2] деревья, курчавится травка. А слева, почти против въезда, сверкает на солнце свежей сиреневой краской одноэтажный, знакомый издавна флигель с мезонином, с террасами и пристройками, с балкончиком наверху. Так, значит, всё стёрлось, зарубцевалось, как будто нигде не осталось следов?

Но всё-таки прежнего Спасского уже нет. И словно б

[1] Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770—1831) — немецкий философ, автор систематической теории диалектики.

[2] бечева — прочная толстая верёвка

со старым лутовиновским домом куда-то ушло и его детство. Словно бы трудно, совсем невозможно припомнить загорелого мальчика в коротких штанишках, в коричневой курточке, с пёстрым бантом фуля́ра[1] на детской шее.

...Конечно, барину Ивану Сергеевичу приготовили самую тихую комнату дома — в мезонине, с крытым балкончиком, откуда хорошо были видны поля за кладбищем, дальний лес, овраги. И хоть Варвара Петровна терпеть не могла собак, однако же старый Ваничкин сеттер Напль все эти годы жил именно здесь, в углу балкона, на мягкой подстилке.

Пройдя, как обычно, к трём липам у пруда и вырезав на одной из них букву «Т», поднялся Иван Сергеевич к себе в мезонин, чтобы расставить на полочке привезённые в Спасское книги.

Книг было много, русских и иностранных, на немецком, французском, латинском и греческом языках, по истории и философии, беллетристика.

Отдельною стопкой на письменном столике лежали любимейшие — Пушкин, Шекспир, Лермонтов, Гоголь.

Пушкин и Гоголь были да́вней любовью Ивана Сергеевича. Стихи Пушкина и томики Гоголя — «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Арабески» и «Миргород» — возил он с собой повсюду, читал, перечитывал, находя в них каждый раз что-то новое, ещё более прекрасное, как будто пропущенное, не замеченное раньше.

Но теперь он был весь во власти могучей и скорбной поэзии Лермонтова.

«Дума», «Не верь себе...», «Тучи», «Еврейская мелодия», «1-ое января», — он мог читать эти пьесы без конца, тщательно переписывал, дарил списки друзьям. Всё в них казалось ему удивительным, в этих маленьких пьесах; как будто бы не слова́, не поэтический образ, а само чувство, сама мысль, как драгоценные капли крови, падали на бумагу с волшебного пера поэта. Так умели писать только великие мира сего — Пушкин, Гёте, Шекспир.

Боже мой, сколько прекрасных грёз и надежд было пережито вместе с покойным Станке́вичем[2] в Риме!

[1] фуля́р (*фр.*) — шёлковый шейный или носовой платок

[2] Станке́вич Николай Владимирович (1813—1840) — русский общественный деятель, философ, поэт, основатель литературно-философского кружка (кружок Станкевича).

Какой могучей, свободной по духу казалась там каждая человеческая личность! С каким трепетом и восторгом произносили они великое имя Человек!

И вот он здесь, на родине, в милом Спасском, но облетают уже эти надежды и грёзы перед силою более страшной, чем рёв моря и треск огня.

Побродив по тихо шелестевшим аллеям и постояв в задумчивости на берегу пруда, Иван Сергеевич направился в дальнюю часть парка — за конюшнями, у оврага.

Всё было тихо вокруг. Разморённые[1] пóлднем, сонно щебетали птицы. Осторожно шумели листвой деревья. Спокойно дышала земля. И дыхание земли в этот час было влажным, горячим и душистым.

Вдруг негромкая песня родилась где-то рядом за деревьями, за кустами сирени.

Девичий голос задумчиво выводил какой-то унылый мотив, обрывал его и снова вёл и снова обрывал на полуслове. Так поют за работой, когда нужно прикинуть что-то на глаз, подумать над чем-то и вновь приняться за то же однообразное, привычное дело.

Песня была незнакомая, по всему видать — городская, мещанская.

Тургенев прислушался. «Ах, злодей ты, варвар ты, разбойник, прострели ты пистолетом грудь мою!» — разобрал он наконец слова и улыбнулся.

Раздвинув осторожно кусты, Иван Сергеевич огляделся и тотчас увидел в круглой липовой беседке наклонившуюся над шитьём девичью головку, нежные покатые плечи и длинную белокурую косу.

Он вышел на дорожку.

Видимо, услышав лёгкий треск сучьев под его башмаками, девушка обернулась, вспыхнула, вскочила в смятении. Ножницы, звякнув, упали на землю с её колен.

— Ах, батюшки! — тихо промолвила она и потýпилась.

Освещённая пёстрыми пятнами солнечного света, девушка была удивительно хороша.

Гладкие, блестящие волосы цвета спелой пшеницы оставляли открытыми маленькие розовые уши. Лицо, круглое и мягкое, теперь залитое густым румянцем, ка-

[1] разморённый (*разг.*) — доведённый до изнеможения, до бессилия

залось прозрачным, а подбородок с ямочкой посредине выдавал робость и нежность сердца.

Однако всего удивительней были белые её руки с красивыми длинными пальцами и тонкие тёмные брови. А когда, овладев наконец собой, она осмелилась взглянуть на барчука и поклониться, Иван Сергеевич с какою-то внезапной радостью увидел такие же тёмные, как брови, глаза её и стрелки густых ресниц.

— Ты... вы у маменьки работаете? Здравствуйте, — сказал, проходя в беседку, Тургенев. — Да что ж вы испугались? Работайте. А я вот здесь, если можно, на пенёк присяду... День-то нынче какой тёплый! Не правда ли?

— Да-с, очень тёплый, — еле слышно ответила девушка, торопливо нагнулась, подняла с земли ножницы и, присев, как прежде, на скамейку у врытого в землю столика, принялась за своё рукоделие.

Солнце всё так же бросало на девушку сквозь листву старых лип свои пёстрые тени. Всё так же сонно бормотали в кустах разомлевшие от жары птицы. И всё так же спокойно дышала земля.

Оба молчали.

Низко опустив голову, девушка быстро и ловко метала строчку, но пальцы её заметно дрожали. А между тем румянец уже схлынул с её щёк, они побледнели, и только маленькие прозрачные уши всё ещё казались розовыми.

«Что ж я молчу? — удивляясь и радуясь своей внезапной робости, подумал Иван Сергеевич. — Ведь надобно ж что-то сказать; ну, что ли, спросить её надобно... Что ж я молчу, в самом деле!»

Вдруг девушка подняла от шитья голову и, кинув взгляд на Тургенева, улыбнулась.

— Что ж вы, барин, на пенёчке-то сели? Чай, вам неловко, — сказала она и придвинула к себе лежавшую рядом стопку белой материи. — Садитесь сюда, тут будет ловчее.

— А я теперь знаю, кто вы! — почему-то тихо прошептал Тургенев, присаживаясь на свободный край скамейки. — Вы у маменьки в швеях работаете, и зовут вас Авдотьей Ермолаевной. Ведь так? Угадал?

Девушка с любопытством вскинула на него свои ласковые глаза.

— Кличут-то по-простому — Авдотьей, а поп крестил

Евдокией, — сказала она, и Тургенев вдруг увидел в глубине её больших карих зрачков лукавые искорки смеха. — По мне, что Авдотья, что Евдокия — одна статья-с, а покойная матушка, однако, завсегда звала Ду́шей... А откуда вам про меня ве́домо, барин?

— Слухами земля полнится, милая Ду́ша, — усмехнулся Иван Сергеевич. — Но не зовите меня, ради бога, барином! Меня ведь тоже поп окрестил и в купе́ли[1] купал... какой же я барин?!

Евдокия Ермолаевна рассмеялась. Всё в ней смеялось: губы, глаза, брови, лицо, даже плечи и руки. Казалось, одному этому чувству — радости, смеху — самозабвенно отдавалась она сейчас, забыв обо всём. И сердце Тургенева забилось сильно и трепетно.

Сердце его отзывалось на смех этой простой девушки такою же самозабвенной, окрыляющей радостью. Словно бы нет и не может быть никакой на свете печали, если рядом с тобой эти тёмные глаза, эти длинные стрелки ресниц, это милое девичье лицо, эти белые руки.

— В купели вас, может, и в той же купали, — с трудом сдерживая смех, сказала Евдокия Ермолаевна, — только до́ли-то наши разные: вы, мол, барчук, я — хоть свободная, а всё чужим хлебом живу, чужой милостью... Но коли, однако, желательно, чтоб барином не величала, извольте-с, могу... Ах, батюшки! — вскрикнула она вдруг. — Экое время болтаю, а рукоделье лежит! Уж вы извините, Иван Сергеевич, пойду в девичью дошивать. Прощения просим.

Взяв со скамейки лежавшую на ней материю и степе́нно[2] поклонившись, Евдокия Ермолаевна хотела было то́тчас уйти.

— Погодите, погодите минуточку, Душа! — взволнованно зашептал Тургенев, схватив девушку за руку. — Неужто вот так и разойдёмся? Неужто не встретимся?

— А что ж нам встречаться, Иван Сергеевич? — с какою-то словно обидой сказала Евдокия Ермолаевна. — Него́же это, и маменька ваша небось заругают... Пойду я уж лучше-то... Пустите, барин, негоже...

— Нет! Нет! Душа, милая, нет! — всё тем же взволнованным шёпотом настаивал Тургенев. — В парк выйди

[1] купе́ль (*рел.*) — kristījamais trauks

[2] степе́нно — важно, не спеша

вечером, как стемнеет. Никто не узнает о том... Приходи. У пруда буду ждать!

— Что вы, барин! О чём говорите? Что только просите?! — воскликнула, покраснев и сурово сжав бровки, Евдокия Ермолаевна, вырвала свою руку из его жаркой ладони и кинулась по липовой аллее к девичьей...

Так пришла к нему эта светлая его любовь. Всё было забыто: книги, шахматы, поездки к соседям, бильярд. Он жил лишь ожиданием случайных коротких встреч с Душей — у девичьей, в той же круглой липовой беседке парка иль по дороге в Петровское, на полевой тропинке между овсами.

Впрочем, девушка всегда старалась поскорее пройти мимо. А если он и задерживал её на минутку, шёл рядом, начиная говорить о своей любви, «ах, не надобно, не надобно об этом, Иван Сергеич! — с тоской и испугом шептала она, не поднимая глаз. — Право, не надобно!» Но всё чаще и чаще поджидал он Душу в поле, на тропинке между овсами, всё медленней и медленней шли и дольше не отнимала она у него своей руки.

Теперь они часто встречали вместе всходившее над землёю утро.

Были утра сначала и душисты и розовы — тихие, светлые; иной раз шумели за окнами свежие грозы.

Потом всё прохладней и прохладней становилось по утрам, а из пруда к заветной скамейке уже подползали не прежние — прозрачные, тёплые — туманы; густели туманы, клубились, как мокрые, седые тучи...

Но вот уже и не светлеют под утро, а наливаются холодною синевою окна в мезонине, пустеют в парке всё больше и больше куртины, близка уже, видно, осенняя грустная тишина.

— Скоро, любый, всему конец, — еле слышно шепнула как-то, прощаясь с Тургеневым, Евдокия Ермолаевна. — Вон она холодеет, погода, и сердце у меня от того холодеет... Уедешь ты скоро по своим делам в Петербург аль ещё куда, всё забудешь...

— Что ты, что ты, Душа! О чём разговор завела? — сказал Тургенев, нежно целуя ей руки. — Оставь думать о том, ради бога!

— Хороший ты у меня, знаю, сердцем ласковый, — так же всё тихо и с той же печалью промолвила

Евдокия Ермолаевна. — А только для чего ж и перéчить-то[1]? Ведь разные у нас дорожки, сам знаешь... Уходит моя радость недолгая. Уж я знаю, что так.

Было раннее прохладное утро.

В ночь упала на землю первая лёгкая изморозь. И теперь, пока солнце еще не согрело воздух, на траве, на деревьях, на кустах лежала морозная седина, а туман над прудом висел ржавыми, серыми хлопьями. Сюда, к зелёной скамейке, уже выцветшей от горячего летнего солнца, торопливо шёл по аллеям парка Иван Сергеевич.

Два дня он не видел уже Евдокии Ермолаевны. Два дня тщéтно[2] искал её в липовой беседке, у пруда, на полевой дорожке за усадьбой.

Всегда беспокойный, всегда размышлявший над каждым чувством своим, над каждым своим впечатлением, он был живо взволнован этой самозабвенной любовью, этим женским сердцем, так полным горячей жизнью.

Лихорадочно вписывал он все эти месяцы в коричневую свою тетрадку всё новые и новые стихи, пытаясь выразить прекрасную радость жить не охлаждённым рассудком, но глубоко и полно, как жила своим чувством милая Душа.

...Возьмите всё
Добро последнее моё —
Да лишь бы смерть подождала
И насладиться мне дала...
Ах, дайте страсть узнать и жизнь,
И я умру без укоризн!

А маменька Варвара Петровна между тем — за завтраком, за обедом, — взглядывая иной раз на сына, чуть-чуть усмехалась поджатыми тонкими губами. Это его почему-то тревожило...

И вот идёт торопливо по аллеям парка к пруду Иван Сергеевич, удивляясь, отчего не пришла к нему Душа сама, а прислала записочку, назначая свидание. Что случилось? Что она хочет ему сказать?

Было холодно в парке. Солнце пряталось где-то в лесах за прудом. Даже вестники утра — птицы ещё не пели, а зябко пушили свои перья, чтоб поскорее согреться. Только иной раз чирикнет какой-либо смельчак во-

[1] перéчить (*разг.*) — runāt pretī

[2] тщéтно (*книжн.*) — бесполезно, безрезультатно

робей или свистнет озябшим горлышком нарядная малиновка.

Но, пока шёл Иван Сергеевич к пруду, что-то начало как будто изменяться в природе. Стал рваться и таять помаленьку туман. Уже кое-где сходила седина даже с листьев, особенно тех, что были ближе к земле, оставляя их мокрыми, глянцевитыми[1]. Уже трава, освобождённая от изморози, тонко дымилась. И уже временами внезапно входил Иван Сергеевич на краткое мгновенье в полосу тёплого воздуха...

Душа ждала его, присев на скамейку и прикрыв плечи белой вязаной шалью.

Увидев Тургенева, она тотчас вскочила, бросилась к нему, прижалась к его груди.

— Уезжать, уезжать, кинуть Спасское велела мне барыня Варвара Петровна! — вздрагивая не то от утреннего холода, не то от волнения, зашептала Евдокия Ермолаевна. — Как же я буду, как буду без вас... без тебя, любимый мой, сердце моё, ненаглядный?! Не могу я того, не могу!

Тут увидел он близко сухие, горячие глаза её, почувствовал жаркую теплоту её рук и лихорадочный трепет её сердца.

— Успокойся, Душа милая, успокойся! — растерянно повторял он, коснувшись губами золотистой прядки её волос у виска и заботливо усаживая девушку на скамейку. — Сядем вот здесь, посидим, потолкуем... Ты что же, работу всю поделала у маменьки? Так, что ли, Душа?

— Ах, Иван Сергеич, нет же, не то! — воскликнула Душа в отчаянии. — Навсегда велела кинуть мне Спасское Варвара Петровна... «Чтоб духу твоего здесь не было!» — вот как, Иван Сергеич, за вашу ко мне любовь, за моё безрассудство... Кинула деньги на стол и такими меня словами ужалила!.. Да это всё ничего... что же... бог с ней... А без вас-то я как же теперь?! Пропала я, пропала, Иван Сергеич!

Тут только, в эту минуту, понял Тургенев, что минуло лето, что безвозвратно ушли жаркие ночи и светлые дни с тёплым ветром, что надвинулась осень, осенние холода и сырые туманы, что скоро пусто будет и голо в аллеях спасского парка, как пусто сейчас в его сердце.

[1] глянцевитый — spīdīgs; nospodrināts

— Неужто ны́нче и уезжаешь? — тихо спросил он Евдокию Ермолаевну. — Но ты не пугайся, я тебя, милая Душа, не кину... Я вот пойду сейчас прикажу Фёдору Лобанову — пусть везёт тебя сам до Москвы, квартиру подыщет, устроит... Ты, Душа, не бойся... Разве ж я друга своего милого в беде покину?.. Только уж с маменькой спорить — затея пустая, ещё хуже, пожалуй, выйдет... А ты не бойся, не бойся...

Бледная, схватясь рукою за сердце, вскочила со скамейки Евдокия Ермолаевна. Глаза её словно погасли, оледенели, губы вздрогнули и застыли.

Так стояла она с минуту перед Тургеневым, пристально глядя в его смятённые тревогой глаза.

— Что мне бояться, Иван Сергеич! — глубоко вздохнув, нарушила наконец затянувшееся молчание Евдокия Ермолаевна. — Теперь мне бояться-то словно бы нечего... Шепнуть вот хотела вам словечко одно, ан вижу — нет, не ко времени будет... всё одно к одному. Ну, прощайте, Иван Сергеич, помилуй вас бог! А за любовь вашу и ласку спасибо... Может, в Москву через некое время приедете и Душу свою ча́сом вспо́мните[1], — не минуйте, заходите, уж так буду ждать... Да не тревожьте себя, голубчик, ничем.

Подойдя к Тургеневу, безмолвно стоявшему у скамейки, она припала на краткое мгновение своими озябшими губами к его губам и тотчас бросилась бежать по аллейке в сторону девичьей.

...Так ничего из жизни и не выходило.

Уже проводил он и двадцать третью, и двадцать четвёртую свою весну, а де́ла, настоящего де́ла всё нет и нет.

Ведь вот же однокашники его и друзья худо ли, хорошо, но прибились к заветному берегу. Тимофей Николаевич Грановский — в Москве, секретарь словесного отделения университета; счастливо, слава богу, женился, теперь затевает дело огромное, в России неслыханное, — публичные чтения по истории. Господин Деству́нис Гаврил Спиридонович — уже магистр, переводчик, с успехом просвещает юношество, пусть, скажем, пока что и не студентов, а всего лишь милых барышень из Смольного института благородных девиц. За рубе-

[1] ча́сом вспо́мнить — вспомнить случайно

жами, во Франции и Германии, Мишель Бакунин, предав проклятью российское братство, ратобо́рствует[1] словом и делом против тиранов и ненавистной буржуази́[2]. Даже огненно-рыжий Василиск Петушков-Панафидин воюет, как слышно, в своей захолустной Казани за некую (ему одному, впрочем, видную) правду. Даже Николушка, брат, хоть и тяжко ему без маменькиной поддержки, а всё же прибился и он к заветному берегу: взял в жены любимую женщину, кинул прочь свою постылую гвардию, чиновником служит в департаменте да бегает по урокам...

И только он, Тургенев, всё мечется да мечется из стороны в сторону: то в Питер бросится неве́сть зачем, то в Москву, то в Спасское, то опять за границу — в Берлин, Дрезден, Мариенбад...

Мелькали мимо дни, недели, месяцы, не принося ни счастья, ни успокоения. Балы, маскарады, пустая светская болтовня в салонах — в этом не было недостатка. Да что в них?!

Пытался было Иван Сергеевич занять университетскую кафедру, думал было полнове́сными[3] при́горшнями[4] сеять добрые семена гуманности, человечности, истинной философии.

Но впустую истратил он несколько месяцев жизни, чтоб добиться учёного звания магистра. Не оказалось для него кафедры ни в Петербурге, ни в Москве. Да, по правде сказать, какая же может быть философия в российских императорских университетах, когда уже более десяти лет, как введена повсеместно единая для всех умов философская формула, изобретённая министром просвещения Уваровым: «самодержавие, православие, народность»!

Служить? Защищать обиженных, поддерживать па́дающих, тереть слёзы плачущим?.. Он и служить пытался, да скоро на службу махнул рукой. Потому что отнюдь не для защиты обиженных и плачущих размножались по Российской империи всевозможные департаменты, комиссии и комитеты. Неукоснительный, формою и инст-

[1] ратобо́рствовать (*уст.*) — бороться

[2] Так в XIX веке произносили и писали на французский манер слово «буржуазия».

[3] полнове́сный — pilnvērtīgs

[4] при́горшня — riekšava

рукцией предусмотренный ход бумаг — вот единственно за чем надлежало следить господам чиновникам всяческих классов, званий и рангов...

Только одно оставалось — стихи. И стихи он писал. И стихи его нравились.

Редактор журнала «Отечественные записки» Андрей Александрович Краевский охотно печатал их, рассыпался в любезностях, пресерьёзно при том уверяя, что муза Тургенева — прелесть и чем-то, дескать, схожа с музой убитого на дуэли незабвенного друга Мишеля Лермонтова.

Иван Сергеевич кланялся, конечно, благодарил, но про себя иронически усмехался.

Впрочем, стихи его были уж тем хороши, что помогали ему сблизиться с дружным кружком превосходнейших литераторов — с Белинским, Герценом, Боткиным, Некрасовым, Панаевым, Анненковым...

Что же касается великосветских знакомых, то был им представлен Тургенев отнюдь не как поэт, а как богатый орловский помещик и молодой учёный. Ибо стихов своих Иван Сергеевич немножко стыдился, хоть иные и одобрял.

Не многие, правда. Потому что с печалью, но уже покидала его душа романтическую, мечтательную юность. Потому что пора было вглядеться попристальней в шумевшую вокруг него жизнь, где мечты так и оставались мечтами и где торжествовала над ними всемогущая грозная пошлость.

И вот, удалясь в Петербург, в своём маленьком, тесном кабинете засел Иван Сергеевич за сочинение поэмы под названием «Параша».

То был чуть-чуть иронический, чуть-чуть печальный рассказ о любви милой провинциалной барышни, так схожей чем-то с пушкинскою Татьяной.

Простодушная, пылкая, полюбив, она вся отдалась своему чувству, она взволновала, она пробудила на миг своею бесхитростною любовью другое сердце — холодное, насмешливое, во всём разочарованное.

И что же? Он посмеялся, конечно, над нею, её герой, как посмеялся Онегин над бедной Таней?

О нет, господа! Всё кончилось счастливо — поцелуем да свадебкой, как, право, могло бы кончиться и у Татьяны с Онегиным и у Ольги с Ленским... И что бы сталось потом? А вот, не угодно ли?

Её души задумчивой и страстной
Сбылись надежды все... сбылося всё,
Чему она дать имя не умела,
О чём молиться смела и не смела...

. . . . . .

Лет через пять я встретил их, о други!
Он был женат на ней четвёртый год
И как-то странно потолстел. Супруги
Мне были рады оба. Мой приход
Напомнил ей о прежнем — и сначала
Её встревожил несколько... она
Поплакала: ей даже грустно стало,
Но грусть замужней женщины смешна.
Как ручеёк, извилистый, но плавный,
Катилась жизнь Прасковьи Николавны.

. . . . . .

Я скоро с ней расстался... и едва ль
Её увижу вновь... её мне жаль.

Так погибла Параша, милая, романтическая Параша. Так затихла, так вяла её душа...

К весне 1843 года вышла поэма в свет отдельною книжкой.

Она понравилась. Её хвалили. Сам Белинский, столь строгий, столь придирчивый критик, посвятил ей обширную статью в «Отечественных записках». Видно, и в самом деле становился «Т. Л.»[1], по слову Краевского, модным российским поэтом.

Но самым удивительным было то, что «Параша» понравилась и маменьке Варваре Петровне. Она тотчас же написала об этом сыну в Петербург. «Параша» мне понравилась, — писала она, — и я точно вижу в тебе талант... Сейчас подают мне землянику. Мы, деревенские, все материальное любим. Итак, твоя «Параша» — твой рассказ, твоя поэма — пахнет земляникой».

Однако же денег от маленькой этой славы у Ивана Сергеевича отнюдь не прибавилось.

Он нанимал, как прежде, с камердинером своим, кривоглазым Захаром, не слишком роскошную, по-питерски душную квартиру в доме Гусева, что на Стремянной.

[1] То есть «Тургенев-Лутовинов». Так подписывал свои стихи и поэмы юный Тургенев.

Жили тесно, голодно, с расчётом в копейках. Потому что маменька Варвара Петровна и младшего сына деньгами не баловала. Поскольку-де числится он на службе чиновником и жалованье получает, то будет ему, стало быть, предостаточно ста восьмидесяти рублей в год.

А что его жалованье?! Мизерное, даже конфузно сказать, что за жалованье. Краевский же Андрей Александрович оказался разбойником — платил пустяки.

Конечно, иной бы раз можно потребовать у разбойника денег побольше, да стыдно признаться, что вовсе ты не богач, а находишься в крайности.

Между тем столичная жизнь была куда как не дешева̀: чуть что позволишь себе — целковый, чуть развернёшься — пятёрка летит. Ещё хорошо, что вывез он из Москвы, от маменьки, изрядный сундук с модными фраками, жилетами, сюртуками, сшитыми по заказу у портных на Кузнецком. Хватало ему и сапог и штиблет от искусного мастера Такке́, и белья из знаменитого магазина Вандрага и Монигетти. Словом, мог он одеться с подобающим вкусом, как то и следует человеку просвещённому, дворянину, чтоб не ударить лицом в грязь ни на балу, ни в театральном зале, ни на приёмах в великосветских салонах.

Смешным непонятным, однако, казалось всё это кривому Захару. Мол, какие там, к бесу, приёмы, коли в животе что ни день молотками стучит?! Экое, мол, дело — столица! Жрать нечего — вот вам и Петербург. Духота, пыль, теснота, одна скве́рность[1]... Не нравился ему Петербург. И жизнь его с барином Иваном Сергеичем тоже не нравилась.

И все ж одного он нестерпимо боялся: ну как осердится Иван Сергеич, хоть он тихий, нестрашный, да отправит обратно в родимое Спасское к матушке-барыне Варваре Петровне в лакеи! Чур, чур, упаси господи! Уж лучше тогда распроклятый сей Петербург.

А Петербург грохотал, веселился, куда-то спешил.

В три часа пополудни открывались на Невском знаменитые петербургские гулянья, столь остроумно, осме́янные Гоголем в неподражаемой его повести «Невский проспект». К тому же времени в роскошно отделанной книжной лавке Смирдина набивались посетители, всё более литераторы, журналисты, любители покопаться на

[1] скве́рность (*уст.*) — nelāgums, nejaukums

полках с новинками. То и дело спрашивали «Отечественные записки» со статьями Белинского, да стихи покойного Пушкина, да не сберёг ли почтеннейший Александр Филиппович для постоянных своих клиентов хоть по одному экземпляру то ли романа поручика Лермонтова «Герой нашего времени», то ль нашумевшей поэмы Гоголя «Мёртвые души».

Бой шёл вокруг этой поэмы нещадный. Сражались кто чем мог: Виссарион Белинский — острыми, кипевшими, как лава, статьями, Булга́рин с Сенко́вским[1] — площадной бранью, доносами. Конечно, Тургенев был за гоголевскую поэму, беспощадно осмеявшую российское барство; с Белинским против Булгарина и Сенковского...

В тот год Петербург был до крайности взволнован удивительным на теа́тре[2] событием: осенью, после полувекового перерыва, приехали на гастроли знаменитые итальянцы — тенор Баттиста-Джованни Рубини, баритон Антонио Тамбурини и двадцатидвухлетняя примадонна, слава которой уже гремела во всех европейских столицах, Мишель-Фернанда-Полина Виардо-Гарсиа.

Более всего возбуждала восторженное любопытство столичных театралов Полина Виардо.

Это была поистине великая артистка.

Дочь испанца, известного певца и композитора Мануэля Гарсиа, сестра рано умершей прославленной певицы Марии Малибран, она начала своё триумфальное шествие по европейским театрам почти ребёнком. Лондон, Брюссель, Париж восхищались её необыкновенным голосом, её глубоким, всегда изящным и совершенным исполнением комических и трагических оперных партий.

Поэты писали ей стихи. Композиторы создавали для неё свои оперы. Знаменитые писатели и музыканты добивались чести знакомства с ней, её расположения, её дружбы.

Вот почему с изумлением узнал петербургский высший свет, что два года тому назад Полина Гарсиа внезапно вышла замуж за сорокалетнего Луи Виардо, человека, отнюдь не богатого, ничем особенным не

[1] Булга́рин Ф. В. — редактор реакционной газеты «Северная пчела», литератор, агент Третьего отделения; Сенко́вский О. И. — востоковед, профессор Петербургского университета, беспринципный критик и беллетрист.

[2] на теа́тре — здесь: в театре, в театральной жизни

примечательного. Великосветские шалопаи по этому поводу изысканно остроумничали и тонко злословили с милыми дамами в модных гостиных. Впрочем, господин Виардо почитался за рубежами знатоком живописи и скульптуры, что и подтвердил изданием подробнейших описаний некоторых художественных музеев Европы...

Октябрьская сумрачная ночь медленно шла над Санкт-Петербургом.

Она шла над ним тучами, финским сырым ветром, вдруг налетавшим на пешехода из переулков, с набережных, на глухих тёмных площадях.

Она шла над ним мелким, надоедливым дождиком, то сыпавшимся на прикрытую палой листвою землю, как сквозь сито, то нежданно обрывавшим свой тихий монотонный шелест.

Ледяным светом прорывавшейся сквозь тучи луны шла эта октябрьская ночь над разведёнными невскими мостами, над оголёнными парками и над горбатыми мостиками через каналы и речки, над бронзовыми статуями императоров и полководцев и над грозною Петропавловской крепостью.

Били куранты — четверти, получасья, часы. А Тургенев всё не покидал мокрых пустынных улиц, зябко кутаясь в тёплый, с тройной пелериною плащ.

Смутные, необычайные чувства переполняли его душу. Было в ней светло, было радостно какою-то новой, незнакомой, крылатою радостью. И было грустно.

Было светло в ней оттого, что услышал он нынче любимую издавна музыку Джоаккино Россини. И вдруг не узнал её, такою взволнованной, яркой и блещущей смехом явилась она в исполнении этой маленькой, худенькой женщины — Полины Виардо-Гарсиа.

Было светло и радостно на душе у Тургенева оттого, что вдруг чем-то несказанно близким, бесконечно дорогим дохнуло на него от этого глубокого, чистого, как ручей, голоса, от этих нежных, прекрасных рук, этих опьянённых вдохновением глаз.

И было грустно ему тою странною тихою грустью, когда вдруг так зримо уходит куда-то твоё прошлое, всё, что знал и любил, отворачивается от тебя, чтобы растаять подобно ночному туману на заре.

Тургенев шёл и шёл по молчаливым, уснувшим улицам Петербурга, подолгу стоял в забытьи на причудливо изогнутых мостиках, смотрел в осеннюю чёрную,

неспокойную глубь каналов и снова шёл и шёл вдоль тёмных, безглазых домов.

Певучие строчки — то ли песня, то ли стихи — рождались в его разгорячённом мозгу. Возникнет строка и гибнет и вновь возникает — уже другая, в ином обличье... Но мелодия, но ритм, но чувство, что-то прощальное, белое, снежное, никак не хотят вылиться, прячутся, убегают...

Вдруг он вспомнил дорогу из Мценска на Спасское, пустынные зимние нивы, услышал унылый звук колокольчика под дугой, и мелькнуло над ним на мгновение родное печальное небо.

— Да, да... утро с туманом, прощальное утро... нивы, покрытые снегом... — прошептал он, остановясь. — Так было когда-то... там, далеко, в прошлом... то ли в Спасском, то ли в Москве... Да, да, так оно и было, так именно...

Увидев рядом какой-то хмурого вида невысокий дом, Тургенев присел на ступеньки его подъезда. Торопливо вытащил он из кармана сюртука свою старую, изрядно затрёпанную записную книжку, схватил карандаш и мелким, бисерным почерком стал лихорадочно записывать эти тревожные строчки, так похожие на прощальное письмо кому-то, кого любил столь недавно и кого надобно теперь позабыть:

Утро туманное, утро седое,
Нивы печальные, снегом покрытые,
Нехотя вспомнишь и время былое,
Вспомнишь и лица, давно позабытые.

Вспомнишь обильные страстные речи,
Взгляды, так жадно, так робко ловимые,
Первые встречи, последние встречи,
Тихого голоса звуки любимые.

Вспомнишь разлуку с улыбкою странной,
Многое вспомнишь родное, далёкое,
Слушая ропот колёс непрестанный,
Глядя задумчиво в небо широкое.

...С тех пор вечерами невозможно было застать Ивана Сергеевича дома.

Высокий, красивый, модно одетый, распространяя вокруг себя тонкий, чуть слышный запах французских

духов «Гарденй», он неизменно появлялся в театре, в концертах, всюду, где пела мадам Виардо. И всякий раз ожидала певицу в её артистической уборной нарядная корзина цветов с визитной карточкой Тургенева и надписью «Le petit signe de la grande admiration»[1].

Между тем камердинер Захар пребывал в состоянии полнейшего отчаяния.

Денег решительно не хватало. А барин Иван Сергеич всё мотает и мотает: что ни день, то цветы для актриски; то свежие, вишь, надобны ему перчатки, которые числятся модные — сиреневые; то в магазин посылает к мамзеле-французинке за духами; то то, то сё. А уж на ваксу для сапог, да на прачку, да на цирюльника, нечего говорить, прóрва! Вот они, счета-то, валяются на ихнем столике; чем будут оправдывать, неведомо. Ох, неведомо!

Добро бы уж он, Захар, холоп, камердинер, — ну ладно, можно ему и сйтничком[2] с чаем пообедать. Ну, а сам-то Иван Сергеевич где кушать изволят, откудова средства берут на своё пропитание? Опять же неведомо, потому в доме, как говорится, ни синь-пóроху[3] ни в утро, ни пополудни, ни к ужину.

Видно, приходится сызнова слать челобитную Фёдору Ивановичу Лобанову в Спасское, чтоб отрядил поскорей барину мàлую тóлику[4] деньжат, да, само собой, в тайности от матушки-барыни...

Пока Захар, подобно министру финансов, ломал голову над улучшением разладившихся вконец денежных дел своего молодого барина, Тургенев изыскивал способ прилично и ненавязчиво представиться мадам Полине Виардо-Гарсиа.

Правда, он встретился как-то с господином Луи Виардо на охоте под Петербургом.

Но господин Виардо, благосклонно выслушав наиподробнейшее Ивана Сергеевича описание русской охоты с борзыми, не посчитал, однако, достаточным случайное это знакомство для приглашения месьё Тургенева на чашку чая к себе.

[1] Маленькая дань величайшего восхищения (*фр.*).

[2] сйтник (разг. уст.) — maize no izsijātiem miltiem

[3] ни синь-пóроху (*фразеолог.*) — ничего

[4] мáлая тóлика (*разг.*) — некоторое количество, немного, несколько

Тут-то и вспомнил Тургенев одну весьма забавную, но в некотором роде известную всему Петербургу личность — Александра Сергеевича Комарова, майора.

Майор Комаров был прежде всего не майор, а младший инженер первого ранга.

Но, как справедливо отметил в своей повести «Нос» Николай Васильевич Гоголь, в звании «майор» заключалось, конечно же, куда более веса и благородства, чем в каком-то младшем инженере путей сообщения, хотя б и первого ранга. Вот поэтому-то и называл себя почтеннейший Александр Сергеевич отнюдь не младшим инженером, а только майором.

Майор Комаров где-то что-то преподавал, что-то где-то печатал, но более всего был знаменит своими скверными обедами да умением ловко втереться в приятельство и дружбу к любой мало-мальски известной персоне.

Впрочем, скверные его обеды, от которых, как злословили в Петербурге, чуть не умер один неосторожный литератор, время от времени посещали и Белинский, и Некрасов, и Панаев, и Герцен. Бывал на них иной раз и Тургенев.

Конечно, майор Комаров уже познакомился с мадам Виардо.

А так как стихи Ивана Сергеевича входили как будто бы в моду, а поэму его «Параша» похвалил сам Белинский, то майор Комаров с охотою согласился представить Тургенева знаменитой певице.

...Рано застыла Нева в том году, рано выпал снег. К ноябрю он уже лежал тонким слоем на крышах домов, на улицах, покрывал парапеты Невы и каналов, лепился по классическим петербургским решёткам.

Лёгкие, однако, стояли морозы. А когда пригревало наконец солнце, можно было различить, прислушавшись, слабый шорох и звон падающих на землю льдинок и мелодичный стук капели.

Именно эти вкрадчивые звуки сквозь приоткрытую форточку непроизвольно слушал Тургенев в то знаменательное утро.

Он волновался. Кривой Захар уж и не знал, что такое подать барину из гардеробного сундука. Потому что надевались в то утро беспрестанно то голубой, то па́левый, то чёрный фрак, то заменялись фраки скромными, строгими сюртуками.

Беда была с шейными фулярами, с галстуками, с

панталонами, со штиблетами. Грудами лежали они на диване, на постели, на креслах. Захар потихоньку бранился, выбегая на кухню, шваркал там кастрюлями, но громко ворчать перед барином не решался.

Наконец были выбраны модные, в светлую клетку, на штрипках[1], панталоны, лакированные узкие башмаки и палевый[2], с большими гербовыми пуговицами фрак.

К одиннадцати явился майор Комаров.

— Эге! Вы всё ещё копаетесь, Тургенев, — неожиданно пискнул майор, усаживаясь в свободное от одежды кресло. — Экий, чёрт возьми, карамболь[3]! Ведь мадам Виардо нас уже ждёт... Ну, быстрее, быстрее, мой милый!.. Да не тревожьтесь. Честью вас заверяю, она премилейшая женщина. К тому ж — будь я проклят, коли вру! — кого майор аттестовал, тому тревожиться отнюдь не резон: приласкают и приголубят...

— В таком разе вы, значит, прокляты, Александр Сергеич, на веки веков, — усмехнувшись, ответил Тургенев, так как отлично знал манеру майора прихвастнуть и прилгнуть.

— Вот вы всё шутите, потешаетесь, — обидчиво надув губы, буркнул майор. — С уважаемого и любимого мною Виссариона Григорьевича взяли пример... Ну, да я помолчу-с. А только майор Комаров, доложу вам, не в одном Петербурге известен — в Париже. И не усмехайтесь, Тургенев. Честью клянусь, коли не верите!.. А теперь пора, пора, уже время!

К Демидовской гостинице на Невском, где занимали супруги Виардо богато меблированные нумера, пошли потихоньку пешком.

На них оглядывались. В самом деле, зрелище было презабавное: высокий, широкоплечий Тургенев в отлично сшитой дорогой шубе и маленький, чуть повыше его локтя, инженерный майор в волочащемся по тротуару плаще и в громадной треуголке с султаном[4].

Слава богу, наконец достигли гостиницы, скинули шубу и плащ на руки бородатому ливрейному швейцару и постучались в дверь нумеров Виардо.

[1] штрипка — saite (biksēm — ap pēdu)

[2] палевый — бледно-жёлтый с розовым оттенком

[3] карамболь — здесь: неприятный случай

[4] треуголка с султаном — форменная шляпа треугольного фасона с украшением в виде пучка перьев или стоячих конских волос

В маленькой голубой гостиной, залитой золотистым светом солнца, потоками врывавшимся сквозь стёкла окон, их ожидала мадам Полина.

Тёмноглазая, смуглая, лёгкая, с чуть заметным пушком над капризно изогнутым ртом, в бордовом изящном платье, гладко причёсанная, Виардо пошла к ним навстречу и, улыбнувшись, чуть склонила голову в светском полупоклоне.

— Я уже знаю вас, месьё Тургенев, — сказала она весело и протянула ему свою маленькую, в ямочках руку. — Майор де Комаров любезно рекомендовал вас охотником, театралом и, кажется, поэтом. Здравствуйте, месьё!

— Я счастлив, мадам, — тихо и взволнованно прошептал Иван Сергеевич, благоговейно целуя эту узкую прекрасную руку великой артистки.

АННИБАЛОВА КЛЯТВА

Весна — самое скучное время в Петербурге. Пустеет город. Кто в Европу, на модные курорты, отправился, кто на кавказские воды — лечиться, а кто в подмосковные, оренбургские, пензенские свои поместья с семьёю и домочадцами. Нет ни балов, ни раутов, ни маскарадов, волосы лезут от скуки!

А погоды в том году, как на грех, выдались переменчивые: то дождь, то солнце, то нестерпимо душно, то холод.

Торчать эдаким временем в городе — сущее наказание. Чуть выбьется солнце из облаков, чуть просушит мостовую, тотчас же закрутится пыль по улицам, через открытые окна налетит в комнаты, трудно дышать. А заладит дождь с утра до вечера, и того хуже: некуда деться, перо и книга выпадают из рук.

К тому же друзья и приятели все сбежали из Петербурга. Белинский — в Москве, собирается, по совету врачей, побродить с милым Михайлой Семёновичем Щéпкиным[1], отъезжающим на гастроли, по югу России, у тёплого моря. Некрасов с Панаевым укатили в Казань. Майор Комаров помчался, конечно, в Париж; граф

[1] Щéпкин Михаил Семёнович (1788—1863) — русский актёр, основоположник реализма в сценическом искусстве, реформатор русского театра.

Виельгорский с семьёй отдыхает в своём поместье Луизино; князь Одоевский где-то на дачах...

А мадам Виардо... мадам Виардо, к величайшему для него несчастью, ещё в феврале, захворав от сырого петербургского климата коклюшем, внезапно уехала в Куртавнель, в имение мужа.

Может быть, он бы и сам, как было то в прошлом, 1845 году, поехал за нею в этот тихий райский уголок под Парижем, где нежданно встретили его первые, робкие радости истинной и нежной дружбы. Но, увы, в нашем горестном мире как часто зависят мечты от пошлых житейских расчётов!

Казалось бы, вовсе не мало наработал он в эти годы. Стихи, поэмы, рассказы — у Краевского в «Отечественных записках», в некрасовском «Петербургском сборнике»... А денег всё нет как нет, всё кланяйся маменьке подобно дворянскому недорослю...

Так думал Тургенев, сидя в ожидании лошадей у скособоченного окошка ветхой почтовой станции на тракте Москва—Тула.

Втайне надеясь добиться у матери разрешения на новый вояж за границу, он ехал к ней в Спасское.

Впрочем, дело тут было не только в маменькином разрешении на заграничный вояж.

Когда-то, ещё в студенческие годы, читая с Грановским романтические стихи Бенеди́ктова[1] и повести Александра Марлинского, он приходил в восхищение. Всё в них казалось ему удивительным, возвышенным, оригинальным.

Но некто Белинский, тогда совершенно ему неизвестный, в журналах «Телескоп» и «Отечественные записки» убедительно показал всю натянутость, вздорность, надуманность так называемой романтической или, проще сказать, ложно-величавой поэзии, будь то стихи Бенедиктова, либо повести Марлинского, либо трагедии Нестора Кукольника. К другой поэзии — реальной, общественной, созданной гением Пушкина и Гоголя, — звал российских сочинителей этот смелый, неистовый в отстаивании правды человек.

И слово Белинского, поистине огненное, глубоко запало в душу Тургенева. Оно, это слово, шло навстречу

[1] Бенеди́ктов Владимир Григорьевич (1807—1873) — русский поэт-романтик.

собственным его раздумьям о путях русской жизни, о горе народном, о значении искусства в человеческом обществе.

Давни́шний враг, с младенчества ненавистный, — крепостное право, вот что становилось всеобщим врагом молодой российской литературы. Маленький человек, забитый бесправием и насилием, будь то чиновник последнего класса, городской мелкий труженик, дворовый холоп либо тя́гловый[1] господский мужик, — вот кто отныне становился героем новой литературной школы. А школа эта с гордостью называла себя натуральной, то есть истинной, сделавшей законом для сочинителя натуру, природу, действительность, борьбу за счастье народа.

Задумал было Тургенев вослед авторам «Физиоло́гии Петербу́рга»[2] Некрасову, Далю, Панаеву, Григоровичу описать закоулки российской столицы — Толкучий рынок, Галерную гавань, какую-нибудь фабрику либо дешёвый русский трактир. Но не слишком тянуло его, однако, описывать город, туманный, при́зрачный Санкт-Петербург. Перо его чувствовало себя раздольно посреди издавна любимых степей и лесов, оврагов и пашен, печальных и нищих российских деревень.

Может, и в самом деле приспе́ла[3] пора обратиться ему к жизни народа, столь близкой и столь знакомой? Отыскать, что ли, старый, забытый, кажется, в Спасском портфель, где хранил он бумажные лоскутки с деревенскими встречами, впечатлениями, анекдотами? Окунуться опять, да поглубже, в народную русскую стихию, где, по слову Белинского, в муках рождалось наше славное прошлое и мучительно вызревает великое будущее?..

...Пока барин Иван Сергеевич изволит сидеть у окошка, надо быть думая разные учёные мысли, камердинер Захар, достав из дорожного погребца складной самоварчик, стал приспосабливать его к чаю. Дыму напустил — страсть: на весь станционный двор...

Между тем звякнули где-то вдали, за бугром, колокольчики.

[1] тя́гловый — предназначенный для работы, тяги, перевозки

[2] «Физиоло́гия Петербурга» — один из альманахов, выпущенных Некрасовым.

[3] приспе́ть (*уст.*) — настать

Через несколько минут коляска влетела во двор станции, колокольцы последний раз звякнули, кучер отчаянно крикнул «тпру», и в комнату быстро вошёл господин в венгéрке[1].

Увидев сидевшего у окошка приличного вида юношу, он тотчас расшаркался, то и дело пристукивая каблуками, скинул картуз, представился.

— Курочкин Аркадий Павлыч, — сказал он, приятно растягивая слова и произнося их несколько в нос, по-французски. — Орловской и Тульской губерний помещик (он вновь сделал ножкой). А возвращаюсь вот из Москвы-с в свои родовы́е поместья... С кем имею честь говорить?

Тургенев встал, коротко поклонился, назвал себя.

— Очень, очень рад, господин Тургенев! — присаживаясь к столу, расплылся в улыбке Аркадий Павлыч. — Изволите из Москвы? По служебным делам-с? Или на лето в вóтчину[2]?

Услышав, что юноша, покинув недавно службу и побывав за границей, едет теперь из Петербурга в имение матери перед новым заграничным вояжем, господин Курочкин многозначительно пошевелил густыми чёрными бровями.

— О Париж, Париж! — после небольшого молчания воскликнул он, с умилением подняв к потолку свои голубые, ясные глаза. — N'est ce pas que c'est magnifique[3].

— А ты почём знаешь, что magnifique? Ведь в Париже ты не бывал, — неожиданно раздался насмешливый голос, и спутник помещика Курочкина, весьма бедно и неряшливо одетый, переступил порог комнаты.

Аркадий Павлыч насупился, светлые глаза его на мгновение потемнели, но тотчас же вежливая, приятная улыбка вновь появилась на его алых губах.

— Вот извольте-с, — сказал он, махнув пухлой, в перстнях рукой, как бы желая изящным жестом сгладить грубую неучти́вость[4] своего сотоварища. — Mille pardons. Что поделаешь, вечно он так, во всём сомневается наш Пётр Петрович — Гамлет, известно!

[1] венгéрка (*уст.*) — гусарская куртка с нашитыми поперечными шнурами

[2] вóтчина — наследное земельное владение

[3] Не правда ли, это великолепно! (*фр.*).

[4] неучти́вость — невежливость

— Но позволь-ка, Аркадий Павлыч, — так же всё иронически усмехаясь, настаивал Пётр Петрович, — ведь ты ж за границей действительно не бывал. При чём же тут Гамлет?!

— Ну ладно! — как-то очень уж тихо, сквозь зубы, процедил господин Курочкин. — Тоже мне — бывал, не бывал!.. Ступай-ка вот лучше да прикажи Фёдору вещи вносить, отдохнём часа два... А вы, месьё Тургенев, надеюсь, окажете честь пообедать со мной? Налегке, налегке, по дорожному-с! А потом и чайку, с вашего разрешения, попьём. Это ведь ваш человек на дворе самоварчик готовит, не правда ли?

Иван Сергеевич с охотою согласился и пообедать и чаю попить, потому что предчувствовал здесь некую драму иль уж во всяком-то случае два любопытных, притом чисто русских характера... Кто он, Аркадий Павлыч? Просвещённый помещик из либералов, душа нараспашку? Ой ли! А Пётр Петрович? Знакомый и пошлый тип романтического героя из повестей Александра Марлинского? Уездный Печорин? Иль в самом деле не попусту пристала к нему эта кличка — Гамлет, принц Датский, внезапно познавший тщету и жестокость мира?..

Пока в станционной печи доходил до нужных градусов и нужного вкуса лукуллов обед[1], Иван Сергеевич подсел к господину Курочкину.

— Любезный Аркадий Павлыч, — сказал он с улыбкой, — отчего вы назвали Петра Петровича Гамлетом? В каком, то есть, смысле?

— А вам, поди, любопытно-с! — воскликнул Курочкин, польщённый вниманием молодого человека, побывавшего в Париже. — Тут видите ль, целая, можно сказать, история, une tragedie[2], глупая, правда, tragedie... Однако ж извольте, я расскажу пока Пётр Петрович в отлучке... Эй, Фёдор, трубку!

Тотчас же Фёдор, донельзя[3] испуганный (что опять-таки поразило Тургенева), подал отлично раскуренный чубук своему барину и, пятясь, скрылся за дверью.

[1] Лукуллов обед — то есть роскошный, обильный (по имени римского консула Лициния Лукулла, славившегося пирами и хлебосольством).

[2] Трагедия (*фр.*).

[3] донельзя (*разг.*) — как нельзя более, до крайней степени

— Так вот-с... — начал свой рассказ любезнейший Аркадий Павлыч, на мгновение прикрывшись душистым табачным облаком. — Впрочем, не желаете ль, месьё Тургенев, побаловать себя трубкой? Так я велю принести.

Но Иван Сергеевич, поблагодарив господина Курочкина за отменное радушие и сказав, что не курит, стал просить его поведать об истории жизни Петра Петровича.

— Видите ль, — улыбнувшись одними глазами, сказал Аркадий Павлыч, — рядом с главным моим имением находилось и Петра Петровича поместье... Ну, pardon, не поместье, пожалуй что хутор; тем не менее жить было можно вполне. Так вот-с. А по соседству, в верстах тридцати, проживала помещица, comprenes-vous[1], вдова-с и в летах. При той вдове, как бывает, состояла в любимых горничных некая Софья. Девка крепостная, конечно, но собой хороша, плясать и петь мастерица и на гитаре играла; la belle rose[2], одним словом. Уж не знаю, каким манером, но повстречал ту розу наш Пётр Петрович и, представьте, влюбился. Да как!.. Он мне, я помню, плёл нечто весьма романтическое насчёт сродства душ и прочей белиберды́-с[3]. А какое ж может быть, помилуйте, сродство душ у помещика, хотя, скажем, и небогатого, но просвещённого, с девкой-чернавкой, крепостною рабой! Даже странно, не правда ли?

Тут Аркадий Павлыч в порыве благородного негодования яростно запыхтел своей пенковой трубкой.

— Тем не менее, — продолжал он затем, — наш чудак всё же решился с той Софьей как-никак, а зажить по-семейному (Пётр Петрович, как вы понимаете, был холостой). Вот отправился он с этой коми́ссией[4] к старой карге. Так, мол, и так, говорит, уступите мне Софью, а я, мол, в цене не постою: какую назначите, такую и дам. «Невозможно, отвечает, я женщина старая, хи́лая, но девку вам не продам». — «Да почему ж», — спрашивает. «А это уж как угодно, а не продам, вот и всё тут; таков мой, говорит, заведённый порядок». Тут Пётр Петрович, конечно, посули́л, ей, pardon, чёрта и ле́шего[5], ,а

[1] Вы понима́ете (*фр.*).

[2] Прекра́сная ро́за (*фр.*).

[3] белиберда́ (*разг.*) — бессмыслица, чепуха

[4] коми́ссия — здесь: дело, забота

[5] посули́ть чёрта и ле́шего — наговорить грубостей

через неделю девку Софью из имения старой карги увёз на телеге к себе... Безрассудство, не правда ли?

Господин Курочкин несколько помолчал, как будто бы ожидая от собеседника подтверждения, что, дескать, действительно безрассудство. Но Тургенев не сказал ни единого слова.

— Пётр Петрович недолго, однако, пожил припеваючи, — стал продолжать свой рассказ, не дождавшись ответа, Аркадий Павлыч. — Как вы понимаете, mon cher[1], прознала про дело с увозом старая карга, объявила полиции. Следствие, суды... Замотали совсем Петра Петровича бестии приказные: тому дай, и тому опять дай, и этому подкинь, дело известное. Были у него лошади выездные, двадцать смычкóв[2] гончих отличных держал — всё раздарил или продал. Уже за лес свой и землю принялся Пётр Петрович в отчаянном упрямстве, да всё равно девку Софью у него отняли. Говорит, что били её на конюшне у старой карги в три кнута, а потом полумертвую сослали куда-то в степную деревню под строгий надзор...

Ужасное волнение охватило Тургенева. Дрожащей рукой достал он из жилетного карманчика круглую табакерку с нюхательным табаком, но так и не открыл её в совершенной растерянности.

— С тех пор загулял напропалую наш Пётр Петрович, — продолжал между тем господин Курочкин. — Деревеньку свою сперва заложил, потом продал. Засúм[3] в Москве очутился. Как жил, неизвестно, дошёл до крайности. И судите сами, mon cher, ради чего-с?! Ради какой-то холопки!.. Я, конечно, крепостным моим людям отец, человек просвещённый и несколько даже либерал, чувства тонкие понимаю-с. Но какие ж, помилуйте, могут быть, тонкие чувства у крепостной девки, мужúчки, странно подумать!.. И засим: ну, не продали Софьи, купил бы другую, разницы в том не вижу. А Пётр Петрович в меланхолию впал, имение пустил по ветру, мечет громы и молнии против некой жестокости мира, людей, благословенного нашего отечества, наконец, хотя сам кругом и виноват. Ну чем, скажите, не Гамлет?.. Вот везу его из Москвы к себе в имение. Всё будет с кем пере-

[1] Мой дорогóй (*фр.*).

[2] смычóк — так называют охотники хвост у собаки

[3] засúм (*уст.*) — затем, потом

кинуться в картишки, о высших материях потолковать, на охоту сходить. Не то в Москве пропадает... Да и неприлично, mon cher: все знают, что Пётр Петрович мне сродственник. Хоть дальний, но всё же...

Как раз в это время фиолетовый Фёдор, войдя в комнату, объявил, что обед, вишь, доспел и что Пётр Петрович просит барина с господином Тургеневым пожаловать кушать в беседку за станцией.

Обед тянулся долго и скучно. Потом из дорожного Захарова самоварчика пили чай с ромом, с вишнёвым и розовым вареньем, с московскими калачами. Потом Аркадий Павлыч удалился за перегородку соснуть на часок, настоятельно рекомендовав сделать то же и месьё Тургеневу.

Но Иван Сергеевич вместо того попытался было потолковать наедине с Петром Петровичем. Однако из этого ничего не вышло: Пётр Петрович лишь иронически усмехнулся, откланялся и пошёл в сенно́й сарай — спать. Между тем на станцию неожиданно прибыли сменные лошади.

Станционный смотритель, получив в руку целковый, велел запрягать, и вскоре почтовая кибитка с Тургеневым и Захаром были далеко и от понимающего всякие тонкие чувства Аркадия Павлыча и от российского Гамлета, как видно лишённого сей благородной дворянской способности.

...Всё скверно было и неприятно тем летом у маменьки в Спасском. Вот почему тяжким бременем тоски и скуки томил тем летом Тургенева милый спасский дом.

Правда, первые несколько дней он попытался работать. Отыскал свой портфель со старыми записями и заметками, перечитал их, стал набрасывать планы рассказов из крестьянской жизни, характеристики и биографии их будущих персонажей, отдельные сцены. Потом записал для памяти свою встречу с просвещённой репти́лией[1] Курочкиным и воистину чисто русскую драму жизни Петра Петровича.

Но, хотя обещал он Белинскому трудиться день и ночь для задуманного Виссарионом Григорьевичем альманаха, что-то никак ему не писалось. Что-то вяло и неохотно водила рука по бумаге, хотя знал он отлично,

[1] репти́лии — пресмыкающиеся, гады

как надеется Белинский, бросивший каторжную службу в журнале Краевского, на стихи и рассказы друзей.

И всё-таки не мог заставить себя работать Иван Сергеевич.

Вместо того, кликнув нового пса своего Пифа и заручившись согласием егеря Афанасия Алифанова, он отправился на неделю, на две в далёкие уезды за птицей.

И странно! Чуть уходили они иль отъезжали в простой крестьянской телеге от Спасского; чуть начинали сверкать на солнце излучины тихих степных речек либо чёрный бор обнимал их своим душным запахом и теплом; чуть, вспу́гнутый Пифом или Валеткой (собакой Алифанова), с шумом вылетал из кустов тетеревиный выводок, тотчас проходила тоска, наступали покой и счастье.

...Три уже дня бродили они с Афанасием по лесам и лугам Чернского и Белевского уездов за тетеровом.

Наконец, добыв две пары тетёрок, вышли на горный берег Исты, правого притока Оки.

Солнце уже низко висело над извилистой лентой реки с её плотинами, мельницами, огородами и густыми садами. Другой берег, низменный, луговой, пристанище дикой утки и длинноногой цапли, ярко блестел и лоснился[1] под его остывающими лучами.

Близился вечер, но всё ещё было жарко.

Утомлённые долгой охотой, собаки Валетка и Пиф еле двигали лапами, тяжко дышали, высунув длинные розовые языки. Да и Тургенев с Афанасием сильно устали.

— А што, может, присядем для ро́здыху, Иван Сергеич? — спросил, остановясь, Алифанов. — Ночь, видать, будет тёплая, под берёзами мягко, нежарко... Костёрик раздую, раков в Исте аль рыбки достану, отлично-прекрасно переночуем. Ась?

Выбрали сухое, под раскидистыми берёзами, место невдалеке от лесного ключа. Сбросили охотничье снаряжение и ру́жья на расстеленный плащ. Афанасий развязал дорожный Ивана Сергеевича мешок, вытащил оттуда полотенце для барина, принёс во фляжке холодной ключевой воды, помог Тургеневу ополоснуть лицо и руки.

[1] лосни́ться — блестеть, отсвечивать

— Ну, прилягте поку́дова[1], отдыхайте, Иван Сергеич, — сказал он, скидывая с ног самодельные, сыромятной кожи, лапти, подвязанные бечевой, — а уж я до Исты сбегаю, тогда уху станем варить... Отдыхайте.

С удовольствием растянувшись на плаще, Тургенев задумался, глядя сквозь густые берёзовые ветки в уже потухавшее высокое небо.

Странный, удивительный человек Афанасий Алифанов! Худой, высокий, в неизменном немецкого покроя кафтане, подпоясанном ременным кушаком, со сму́шковой[2], когда-то кем-то подаренной шапкой на лохматой голове, он в свои сорок пять лет не знал у́стали на охоте. Тетеревиные места, заячьи пастбища, лисьи но́ры, медвежьи завалы трёх соседних губерний — Орловской; Калужской, Тульской — были известны ему не хуже собственных охотничьих сумок.

С дрянным кремнёвым ружьишком и вечно голодным псом Валеткой набивал он столько дичи и зверя, что мог бы жить припеваючи. Но как-то так выходило, что по-прежнему оставался Афанасий нищим оброчным охотником одного из орловских помещиков.

Впрочем, это его, казалось, ничуть не тяготило, а славой непутёвого мужика он как будто бы даже гордился.

Хитро прищурив свои маленькие весёлые серые глазки, он не раз говорил Ивану Сергеевичу: «А што? С непутёвого и спрос иной. Мол, што с него взять, с непутёвого?.. К крестьянской работе я вроде бы негодящий; и мытьём и ката́ньем[3] урезонивали — пустое вышло, однако, дело. Напосле́дки[4] уж барин мой Ляксей Никодимыч и ручкой махнул. «Чёрт, говорит, с тобой, шляйся, дурак непутёвый!» Ну и што? А ничего. Когда в праздник доставишь на ихнюю барскую кухню две-три тетёрки — вот и весь мой оброк. Преотлично, однако! И бурмистров этих, конторщиков разных да старост господских отродясь над собою не вижу. Чего ж мне ещё?»

...Запах разогретой смолы и дыма разбудил Ивана Сергеевича. Он открыл глаза.

[1] поку́дова (*прост.*) — пока

[2] сму́шковый — сделанный из шкурки ягнёнка ценной породы

[3] и мытьём и ката́ньем (*разг.*) — и тем, и другим способом

[4] напосле́дки — pašās beigās

— Проснулись, Иван Сергеич? Вот оно и ладно, — заулыбался Алифанов, вскочил зачем-то, засуетился, отгоняя подползавшего к костру Валетку. — А ну, цыц, угомо́н тебя́ разбери́[1]! Рыбку чуешь, паршивец! Цыц, пошёл, пошёл, не юли!

— Да кинь ты ему хлеба кусок, Афанасий, — сказал, пересаживаясь поближе к костру, Тургенев. — Ведь целый день пёс некормленный.

— Как же, стану я его, паршивца, кормить, — недовольно буркнул Алифанов. — Сам пущай кормится, небось лес округ, всякая живность... Пожалуйте, Иван Сергеич, до казанка́[2], уха будет, надо быть, скусная. А покажется мало, тетёрку вам приготовлю. Пожалуйте.

— Пробирается кто-то по лесу. Слышите, Иван Сергеич? — неожиданно сказал Алифанов, облизнув ложку и переставая есть.

Но Тургенев, сколько ни прислушивался, ничего не мог разобрать.

— Человек идёт некий, лаптями скребёт, — подтвердил Афанасий. — Ну, коли в лаптях, знамо, мужик... Да вы кушайте, Иван Сергеич, кушайте; ушица-то сладкая — и карась там, и лещик, и сомище.

Теперь Тургенев и сам услышал, как потрескивают сучья под чьими-то шагами. Да и собаки вдруг, заворчав, насторожились, подняли уши.

Скоро из темени леса вышел на свет костра невысокий, щуплый мужик в поско́нной[3] рубахе, подпоясанной ремешком, в полосатых портах из домашней крашенины и липовых лапотках поверх потемневших от пота портянок.

— Приятно вам кушать, охотнички, — поздоровался мужик, пристально вглядываясь в сидевшего к нему спиной Алифанова. — Может, местечко не просижу у костра? Уморился.

— А, Калиныч, здоро́во! — чуть-чуть насмешливо воскликнул, обернувшись, Афанасий. — С чего ты рыскаешь без пути, людей ночной порою пужаешь?.. Однако садись да ушицы отведай. Вишь, барин-то дозволяет... Откуда бредёшь?

[1] угомо́н тебя́ разбери́ — успокойся, утихни

[2] казано́к (*обл.*) — котелок для приготовления пищи

[3] поско́нная — домотка́ная из волокна конопли

Вежливо поклонившись Тургеневу, Калиныч торопливо присел к костру, маленькими быстрыми ручками огладил короткую светлую бороденку, но от ухи отказался.

— Благодарствую, барин, И вам, Афанасий Тимофеич, — сказал он, певуче растягивая слова. — У знакомого мужика отужинал, сыт... А иду, глянь-ка, с Белёва, соловушек носил... Соловушек наказал мне занесть тамошний заседатель, и, глянь-ка, таких я ему в мае соловушек приманил — чудеса! Ну, известно, не сразу отнёс-то, послушал сперва, как поют не в черёмушнике, а в клетке. Ничего, соловушки чу́дные! До десяти, глянь-ка, а то и более коле́н[1] высвистывают. И дро́бью-то, и пу́льканьем, и раскатом, и ле́шевой дудкой — эдак «го-го-го-го! ту!», и кукушкиным криком... Соловушки чу́дные!

— А чего так спозднился?[2] — спросил Калиныча Афанасий. — Добрые люди на сон, а наш талага́й[3] в лес на побывку? Так, што-ли-ча, ась?

— Да какой же я талагай, помилуйте, Афанасий Тимофеич! — сплеснул ручками Калиныч. — При барине б не стыдили... Думалось, глянь-ка, до пасеки до своей быстренько добегу, ан в лесочке-то к вечеру таково оно хорошо, расчудесно! На небушко загляделся, как оно, родимое, звёздами вышивалось, да как деревья-то примолкали и птахи на ночь прилаживались... Очень уже всё, барин, устроено дивно. Видать, человеку на радость. Ах, дивно!

— Это, братец ты мой, кому как! — усмехаясь, перебил Калиныча Алифанов. — Вот зайцу, к примеру, небось небо с овчинку покажется, коли волк иль собака нагрянет... Сидит под кусточком, трясётся...

— Так то ж вы про зайца, Афанасий Тимофеич, а я про человека, про госпо́днюю душу... Дивно вокруг и мудро устроено, барин!

— Дурной ты, ей-право, Калиныч, дурной, — сказал Афанасий, раздражённо швыряя в костёр сухую ветку. — Экая мудрость! Ты вот ша́стаешь по лесу то ли сыт, то ли голоден — как придётся; ни избы у тебя своей, ни семейства, пасека и та не твоя, и сам ты не свой... За-

[1] коле́но — здесь: в пении, в музыкальном произведении: выразительный пассаж, выделяющееся чем-нибудь место, часть.

[2] спозднитьcя (*разг.*) — задержаться

[3] талага́й (*народное*) — никудышный человек, лентяй

хотят — со свету сживут, захотят — и помилуют. Мудрость нашёл, талагай!

— А про это, Афанасий Тимофеич, не нашего ума дело судить, — тихо ответил Калиныч. — Потому какая кому, глянь-ка, планида[1] в жизни — одному так, другому эдак. Апосля́, поди, разберутся; отмерится мерой, известно.

— Это когда ж «апосля»? — совсем уж рассердился Афанасий. — Э, да что с тобой толковать-то! Сказал бы словечко, да вот опасаюсь при барине чёрным словом тебя забижать... Тьфу, пропасть! Противно и слушать.

Поднималась луна. Зелёным блеском начинали светиться тёмные прежде стволы деревьев, трава под ними, воды Исты внизу. Ночной воздух дрожал, переливался, наполнился тенями...

— Ну, спасибо, барин. И вам, Афанасий Тимофеич, — вдруг нарушил молчание Калиныч. — Отдохнул я, пригрелся. Прощения просим.

И, вскочив, Калиныч внезапно исчез в темноте между кустами.

Но Тургеневу чудилось, будто всё ещё слышит он певучий, восторженный голос этого тихого человека, так поэтично влюблённого в мир и природу.

— А что, Афанасий, — спросил Иван Сергеевич, когда слабый шорох лаптей замер вдали, — он соловьями, что ль, промышляет? Охотник?

— Калиныч-то? — усмехнулся Алифанов. — Да какой он охотник! Соловьёв, правда, знает, песни петь тоже мастер. Уж так поёт, так поёт, аж се́рдце захо́дится[2] слушамши. Против него, Иван Сергеич, никто в песне не устоит... А мужичок из него никуда не гожий, пользы своей не понимает. Землю вот бросил, на пасеке у барина бобылём[3] проклаждается... Не по-хрестьянски живёт; талагай, известно.

Тургенев весело рассмеялся.

— Да ведь и ты, Афанасий, тоже землю-то кинул, — сказал он, смеясь, — не пашешь, а по лесам бродишь охотником. Как же ты Калиныча за жизнь его осуждаешь?

— Я дело иное, Иван Сергеич, — нахмурившись,

[1] плани́да (*уст.*) — судьба, предназначение

[2] се́рдце захо́дится — замирает от радости

[3] бобы́ль (*уст.*) — безземельный, одинокий крестьянин-бедняк

ответил Алифанов. — Я волю люблю. Я, может, получше б кого другого свою стезю[1] в жизни нашёл, да не хочу. Потому, по мне, воля для человека всего дороже... А што он, Калиныч? Ни в це́ркви звон, ни в кабаке́ штоф[2]...

Костёр догорал. Афанасий подкинул в него сучьев, с аппетитом зевнул и улёгся на землю, подложив шапку под голову, — спать.

А Тургенев ещё долго томился мыслями о горькой и странной судьбе своего отечества, по́пусту тратящего народные таланты.

...Ранним утром следующего дня зашептал вдруг по лесу, защёлкал по листве деревьев мелкий, без солнца дождь.

Уже час и два шёл Тургенев за Алифановым под мокрой этой листвой и глянцевой от дождя хвоей, пробираясь к заветным тетеревиным местам. Но, сколько ни ры́скали собаки в кустах, сколько ни вынюхивали влажный воздух, ни одного вы́водка не вспугнули.

Между тем дождь принялся не на шутку.

— Э, нет, Иван Сергеич, — с досадой сказал наконец Алифанов, — нельзя нынче охотиться, собакам чутьё заливает. Да и ружья при этакой воде осекаются.

— Что ж делать-то, Афанасий?

— А вот што, Иван Сергеич. Пройдём-ка мы — тут недале́че, вёрст с десяток будет, не более, — к знакомому леснику, по прозванью Бирюк. Там дождик-то у него самый ва́лкий[3] переждём да проедем потом на Бирюковой кобылке в Алексеевку. Вы, может, не знаете — хуторок такой есть, матушке вашей принадлежит... А уж та́мошние-то места потоптал я с ружьишком вдоль до поперёк; многим они лучше здешних для тетеревов!

Но, как всем известно, крестьянские десять вёрст бывают частенько длиннее иных двадцати.

Вот почему до Бирюковой лесной избушки добирались уже близко к вечеру, мокрые, продрогшие и голодные.

Дверь избушки была заперта изнутри. Они постучались.

[1] стезя́ (*уст. и высок.*) — путь, дорога

[2] ни в це́ркви звон, ни в кабаке́ штоф — не имеющий своего дела, призвания

[3] ва́лкий — здесь: сильный, большой

Тотчас вышел к ним дю́жий[1], грузный мужик, весь заросший чёрными, с проседью волосами. Диковатые цыганские глаза его смотрели сумрачно и неласково из-под нависших совсем уже седых бровей.

— Здоро́во, Пахом! — сказал Алифанов, как будто бы чем-то донельзя удивлённый. — Ты чего здесь?

— Да лесником я сюды поставлен, — спокойно ответил мужик, исподло́бья разглядывая Тургенева.

— А Бирюк?

— Нету Бирюка. Убили его.

— Так, так... Значится, дое́хали соко́лика[2] не мытьём, так ката̀ньем! — усмехаясь, воскликнул Алифанов.

— Да вот, убили, — всё так же спокойно ответил ему Пахом, метнув в сторону незнакомого барина сторо́жкий взгляд своих чёрных, как уголья, глаз. — Да вы проходите в избу-то. Чего тут стоять на дожде!

Лесникова изба была низкой, полутёмной, пустой.

На лавке у колчено́гого[3] самодельного стола валялся тулуп и лежало одноствольное старое ружьё. В правом углу, занимая почти третью часть комнаты, растворила свою голодную пасть покрытая ко́потью русская печь. А невдалеке от неё, на полатях, прикрытых тряпьём и сеном, сидела худенькая, лет восьми, девочка с большими чёрными грустными глазами. Увидав Тургенева, она испуганно вскочила и с быстротой потревоженного зверька исчезла на печке.

— Вам бы, барин, чайку теперь надобно, согреться? — спросил Пахом, освобождая лавку от тулупа и ружья. — Да самоварчика у меня, барин, нет, чаю подавно, один хлеб, коли изволите. Печку тоже растопить можно, дровишки некупленные.

— Спасибо, не беспокойся, Пахом, — садясь на лавку и поставив в угол ружьё, сказал Иван Сергеевич. — Мы к тебе ненадолго. Вот только дождь переждём, обсушимся, отдохнём... Скажи-ка лучше, братец, кто это Бирюка-то убил?

— А кто ж его знает, барин! — словно бы не́хотя ответил Пахов и отвернулся. — Может, лесные разбойнички

[1] дю́жий (*прост.*) — крупный, сильный

[2] дое́хали соко́лика — загубили, замучили

[3] колчено́гий (*прост.*) — хромоногий, кривой

аль ещё кто-нибудь. Нам про то неизвестно. Так печку-то растопить?

— Тащи, тащи, Пахом, дровишки, сами растопим, — вступил в разговор Алифанов, сбрасывая на пол свои сумки, мешок с харчами, ружьишко. — А вы, Иван Сергеич, покудова я пару тетёрок сготовлю и чай в казанке согрею, легли б на полатях, соснули б... Сено небось чистое у тебя найдётся, Пахом?

В самом деле, Тургенев давно уже чувствовал, как болят натруженные ноги, как тяжёлая усталость клонит в дрёму, бьёт его тело мелким ознобом.

Скоро в печке весело затрещали дрова, а полати покрылись душистым ворохом свежего сена.

Скинув сапоги, мокрый плащ, патронташ и охотничью куртку, Иван Сергеевич с удовольствием растянулся на сене и сразу заснул...

Он пробудился внезапно от осторожного шёпота.

Дождь всё ещё продолжал стучать по крыше. Тёплый, вкусно пахнущий дымок плыл по избе. Не хотелось вставать, не хотелось раскрывать глаз.

— ...мужик-то был совсем горький, вконец разорённый бурмистром, и детишек мал мала меньше, — услышал он глухой шёпот Пахома. — Так Бирюк его, стало, отпустил. Затрещину малость отвесил, как водится, а лошадёнку с телегой и деревом, что свалил мужик-то в лесу, возвернул. Сердце, видишь, и у Бирюка не каменно.

— Смилостивился, значит, — насмешливо сказал Алифанов.

— Ну да, — продолжал тем же шёпотом Пахом. — А барин-то, стало, узнал про это про всё. Сейчас Бирюка на конюшне пороть. Потом хотел его барин в нéкруты[1] сдать, ан тот отмолился, в ногах извалявшись. Да и станешь валяться — небось детишки, жена, всё такое...

— А Бирюк опять же сюды возвернулся? — с интересом спросил Алифанов.

— Да, знамо, сюды. Куда ж ему деться? — ответил Пахом. — Только зачал он сильно против хрестьян лютовать. Уж и так ему и эдак. «Ой, Бирюк, погоди, говорят, азият, доберёмся!» Ни на што, стало, не глядит — лютует и лютует... Ну, вот и убили. В лесу его после нашли. Што там было — страх глядеть, Афанасий, помилуй господи, эдак-то!

[1] То есть в рéкруты (в солдаты).

— А хрестьян тех не нашли? — еле слышно прошептал Алифанов.

— Рази ж найдёшь?! Они это ла́дом[1] произвели, всё шито-крыто... Ну, знамо, схватил пристав кого для остра̀стки[2], помучил да после и отпустил... Вон она какая смерть пришла Бирюку! Страшно вымолвить... Да, постой, помолчи, Афанасий. Кажись, барин твой проснулся...

ПЕРЕКРЁСТКИ И ПОВОРОТЫ

Подойдя к окнам, он отдёрнул зелёные шторы. За окнами был Париж. Печально и ласково светило за окнами солнце. На бульваре и улице уже обнажились по-осеннему пёстрые каштаны. Их жёлтые листья медленно и беззвучно сыпались на тротуары, и только изредка долетало к нему щёлковое шуршание потревоженной пешеходом листвы.

Странная, необычная тишина притаилась за окнами: молчал, насупясь, весёлый Париж...

Уже скоро два года, как покинул Тургенев степи и рощи Орловщины, болотные дебри Полесья, почтовые станции, иссечённые дождями и временем, снега, голубые мундиры жандармов, императорский Петербург... То были годы надежд и свершений. Всё ему удавалось. Словно бы клятва, какую дал он тем памятным летом в Спасском, вдруг разбудила в нём новые, свежые силы. Словно бы эвмениды, благосклонные богини судьбы, светлой стаей слетелись к нему и не хотели его покидать.

В Берлин, Дрезден, Лондон, Париж, во все города, где пела мадам Виардо, его дорогой и добрый друг, возил он с собой свой туго набитый портфель с черновиками рассказов, планами комедий для Михаила Семёновича Щепкина, набросками, за̀мыслами.

Гремели ль на улицах прусские военные трубы и барабаны, клубился ли жёлтый лондонский туман иль шелестели каштаны Парижа и Куртавнеля, тотчас по приезде присаживался он в своей комнате к столу, чтоб

[1] ла́дом (*разг.*) — в согласии, в порядке, аккуратно

[2] остра́стка (*разг.*) — угроза, наказание в предупреждение возможных будущих поступков

записать несколько счастливых фраз, пришедших на ум то ли в вагоне железной дороги, то ли в пароходной каюте, то ли в купе дилижанса.

Даже в унылом, мокром от бесконечных дождей Зальцбрунне, маленьком курортном городке Силезии, куда повёз он больного Белинского, даже там не покидало его вдохновение, даже там писал он свою книгу, свои «Записки охотника».

Бедный Белинский! Ужасно подумать, что он умер, забитый злою чахоткой, нищетой, непосильным трудом и злодейской цензурой, всеми дикими и жестокими российскими обстоятельствами!

А давно ли то было... Петербург, тесная гостиная Белинских на набережной Фонтанки, друзья собрались — Некрасов, Панаев, приехавшие из Москвы Николай Христофорович Кетчер, врач, переводчик Шекспира, и Тимофей Николаевич Грановский, кто-то ещё... Шутки, эпиграммы, потешные анекдоты, шампанское в честь откупленного у Плетнёва старого пушкинского журнала «Современник»...

— Вы — мальчишка, Тургенев, — сдерживая ласковую улыбку, говорит Виссарион Григорьевич, выслушав какой-то уж вовсе ни с чем не сообразный[1] его анекдот. — Странно, право странно, господа: эдакий франт мальчишка, а пишет для нашего «Современника», в пику[2] Булгарину с братией, отличнейшие рассказы. Ведь «Хорь и Калиныч» — чудо... извольте слушать, Тургенев!.. чудо ваш «Хорь и Калиныч». Да и «Русак»[3] хорош, хотя далеко ниже «Хоря и Калиныча». Вы в этих рассказах зашли к народу с такой стороны, с которой ещё никто из писателей к нему не заходил... Только помните: грешно теперь не работать, Тургенев! Да по-настоящему, как мужик землю пашет, засучив рукава... И никаких отговорок! А то я знаю дворянскую вашу привычку: посулите с три короба, а нападёт невесть с чего мерлихлюндия[4] иль почудится, что вбоку заломило, — конец, побежите к врачам, про «Современник» забудете.

Но он писал, беспрерывно и жадно писал.

[1] не сообразный — не соответствующий чему-либо

[2] в пику (*разг.*) — par spīti

[3] Так назывался в рукописи рассказ «Петр Петрович Каратаев».

[4] мерлихлюндия (*авт.*) — тоскливо-скучающее, мечтательно-грустное состояние

Новое, почти незнакомое дотоле чувство охватывало его, когда писал он эти короткие рассказы. Как будто вокруг него дышала, раскинувшись под солнцем, родная русская земля с её оврагами, рощами, ленивыми речками, низкими, закиданными тёмной соломой деревнями. Он слышал её горький запах — мята, полынь, сухое пыльное жнивьё, дёготь майданов... Вспомнились степенные мужики, бабы, ребятишки, случаи и беседы на охоте под треск костра, под ночным фиолетовым небом, забрызганным белыми трепещущими пятнами звёзд.

И ещё веселила и тешила мысль, что так вот внезапно, как будто легко, рождаются под его пером, чтобы жить отдельной от него жизнью, натуры особенные. И все они между тем те же самые мужики, барские холопы, которым и маменька, и Аркадий Павлыч господин Курочкин, и дяденька Николай Николаевич, и множество других российских помещиков отказывают в глубине и тонкости чувств, в жажде счастья и красоты.

Нет, милостливые государи мои, куда вам, пожалуй, до них! Куда вам! Ибо, как в зеркале, показал вас в великой своей поэме Николай Васильевич Гоголь.

Дни бежали. И вот уже скоро он вычеркнет из плана как законченный и отосланный в «Современник» последний рассказ своей книги — «Лес и степь». Скоро закончит он и эту маленькую поэму о русской весне, о горячем июльском утре, о пожарах степного заката и осеннем запахе над жёлтыми полями, об ослепительном сверкании снега в зимний погожий день.

Только вот что-то всё пишется в последнее время туго, с урывками, по кусочкам. Может быть, мешают проклятые эти припадки, когда словно бы загорается, жжёт где-то внутри, и руки и ноги холодеют внезапно? А может, совсем не то: может быть, это давит, гнетёт душу тишина, необычная странная тишина Парижа...

ЯВЛЕНЬЕ ЮБИЛЯРА

Закат
Сиренев
До того,
Что прямо лиловеет,
Как будто даже от него
Тургеневщиной веет.
Но уверяет
Темнота,
Столь бледная в июне,
Что молодёжь уже не та,
Какая
Накануне.
Конечно,
Накануне,
Дым,
Отцы и дети,
Рудин —
Всё это людям молодым
Скучнее школьных буден.
Но
Старый франт
Среди нерях,
Не прах на катафалке,
Тургенев сам встаёт в дверях
Тургеневской читалки,
И к трогательно молодым,
Чей сон не непробуден,
Он мчится —
Накануне,
Дым,
Отцы и дети,
Рудин!

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

НИНА ЧЕРНЫШЕВСКАЯ

ПОВЕСТЬ О ЧЕРНЫШЕВСКОМ

(Главы из повести)

БАБУШКА РАССКАЗЫВАЕТ

Разбушевалась вьюга над Волгой. В белом домике на высоком берегу жарко натоплена печка. Ветер свистит и завывает в трубе. Двое детей, тесно прижавшись друг к другу, сидят на низенькой скамеечке в крошечной бабушкиной комнатке.

— Расскажу я вам, Любенька, Николенька... — так обыкновенно начинает бабушка свои рассказы в долгие зимние вечера.

Сегодня бабушка, выполняя просьбу внука, рассказывает его любимую историю, которую он слышал уже много раз: как бежал из плена его предок по матери, давно-давно живший в далёком астраха̀нском крае.

— Работал он себе на пашне, — не торопясь рассказывает бабушка, — как вдруг, откуда ни возьмись, киргиз-кайсаки, кочёвники[1]. Лошади у них быстрые, сами дикие. С ги́ком[2] да свистом схватили нашего родича и увезли в плен. Чтоб не убежал, пятки ему подрезали, туда конского волосу напихали и зашили. С такими ногами ходить нельзя, не то что бегать.

При этих словах Николеньке делается страшно, и он начинает двигать пятками по полу, как бы проверяя, целы ли они у него.

[1] кочёвник — klejotājs

[2] гик (*разг.*) — резкий, отрывистый вскрик

Бабушка продолжает:

— Но наш родственник всё равно бежал. Днём прятался в высокой траве, а ночью полз да полз. Погнались за ним. Не видят его, а кричат: «Видим! Видим!» Это чтобы он место переменил, тогда по колыханию травы его и заметили бы. Но беглец-то умный был, не поддался. Лежит, не шелохнувшись, в камышах. Так искали-искали его, да и отступились. Добрался он домой и опять с семьёй стал жить.

Вместе с беглецом Николенька переживал все страхи в камышах, вместе с ним радовался его спасению. Как плохо быть рабом, как хорошо быть свободным! Главное, что нравилось мальчику в этом человеке, — это его выносливость, бесстрашие, мужество. Всё вытерпи, ничего не испугайся — и тогда победишь!

И ещё любил мальчик, когда бабушка рассказывала о старинных русских богатырях.

Вот вырастает перед детьми могучая фигура Ильи́ Му́ромца[1], крестьянского сына.

Долго, увлекательно рассказывает бабушка и о первом богатырском его подвиге — о помощи родителям в трудной крестьянской работе, и о сражении с Идолищем Пога̀ным[2], напавшим на русскую землю, и о поражении Идолища.

За вдов, за сирот, за бедных людей заступается Илья Муромец, ведёт дружбу с народной беднотой, а с княжескими целовальниками (чиновниками) знаться не желает. И вот Владимир, князь сто́льно-ки́евский[3], велит взять Илью за белы руки и засадить в холодные тёмные каменные погреба, чтоб он умер там голодной смертью. И умер бы Илья, если б не княжна. Пожалела она его, носит ему туда кушанье и питьё. Не погиб Илья. Его силы ещё пригодились для новых битв за Родину.

«Как же это, — думает мальчик, — богатыри так трудились, богатыри хорошие, и вдруг их — в погреба?» Раз даже расплакался он, слушая бабушку.

А после опять просил: «Бабушка, расскажите о богатырях!»

[1] Илья́ Му́ромец — былинный богатырь

[2] И́долище Пога́ное — отрицательный былинный персонаж

[3] сто́льно-ки́евский — глава Киевского княжества, имеющий престол в Киеве

НОВЫЙ УЧИТЕЛЬ САРАТОВСКОЙ ГИМНАЗИИ

Быстрые лёгкие шаги. По коридору проходит молодой учитель. В щёлку классной двери за ним наблюдают десятки мальчишеских глаз: «Новый!»

И сейчас же в головах зароилось[1] планы. Раз новый — надо проучить. Ведь учителя и ученики — это два лагеря, между ними постоянная вражда. Учителя бьют учеников и в классе, и на переменах. А по субботам, провинился ты за неделю или нет, всё равно стройся в пары — и в подвал. Там будет расправляться сам инспектор. Саратовцы даже говорят, что в этот день неприятно проходить по Гимназической улице, потому что в раскрытые окна несутся мальчишеские вопли. Там происходит порка. Во дворе так и стоят бочки, а в них всю неделю мокнут розги.

Не успевают гимназисты придумать, как «встретить» нового учителя, а он уже в дверях, он уже перед ними в классе. «Эх, булавку в стул не воткнули, ну это в следующий раз», — мелькает в головах учеников. Исподлóбья[2] они, поднявшись, оглядывают учителя. Волнистые русые волосы, спина сутуловàтая[3], сюртýк[4] сидит мешковато. А уж раз очки — значит, слепой, многого не заметит.

Сейчас возьмёт журнал и начнёт перекличку. Надо гримасу почище приготовить. Но что это? Новый учитель даже за свой стол не сел. Он проходит в самую гущу учеников. Садится среди них на свободную парту. Приветливо оглядывает мальчиков. Сразу замечает задумчивого подростка. Музыкально одарённого мальчика Виктора учитель уже видел, когда он вместе с историком Костомаровым посетил его мать Анну Никаноровну — поэтессу, владеющую семью иностранными языками. Уже тогда из своих пятерых детей Анна Никаноровна, болея душой за будущность Виктора, выделяла его как чуткого музыканта.

За Виктором — другие мальчики. Без журнала Чернышевский интересуется их фамилиями. Вот два брата Вороновых, это — Умнов, это — Песков, а тут —

[1] зароиться — появиться во множестве

[2] глядéть исподлóбья — glūnēt caur pieri

[3] сутуловáтый — sakumpis

[4] сюртýк — (gari vīriešu) svārki

Мосолов, Шатилов. Смышлёные лица, в глазах светится ум и протест. Ни за́спанности, ни тупости. Живые мальчишки, с ними дело пойдёт.

«Вот кого я должен разбудить к жизни, к решительным действиям, — думает новый учитель. — Древний Пигмалио́н[1] создал статую и оживил её. Я буду новым Пигмалионом».

Приходят на ум старые библейские слова, когда-то заученные в семинарии: «И стало слово моё как уголь пламенеющий, и не могу удержать я его в себе».

С удивлением смотрят «смышлёные мальчики», что делает учитель. Прежде всего он отбрасывает в сторону старый учебник Кошанского.

А они с прежним учителем, недавно умершим, остановились на том разделе этой книги, где говорится, что «критика в литературе — то же, что полиция в обществе: блюдёт[2] порядок, приличия, благопристо́йность[3]...»

— Читали ли вы Пушкина? — спрашивает учитель.

— Нет, — с недоумением отвечают несколько голосов.

Такое же молчание и одинокие растерянные ответы следуют на вопрос о Лермонтове, Гоголе, Кольцове.

— Хорошо, — говорит учитель. — Всех узна̀ете и не пожалеете. И грамматике они нас с вами научат.

В перемену к Чернышевскому подошёл один из учеников: «Я немного знаю Пушкина».

— А что вы читали?

Это «вы» ошеломило гимназиста, он совершенно растерялся и не знал, что ответить.

Чернышевский протянул ему руку, прощаясь, и обещал:

— Завтра все вместе будем с Пушкиным.

На другой день весь класс с нетерпением ожидал урока русской словесности. Новый учитель говорит ученику «вы» и прощается за руку! И «критику-полицию» зубрить не за̀дал. Неслыханное дело! Нет, такому словеснику булавку в стул не воткнёшь, мух в чернильницу не напустишь.

[1] Пигмалио́н — в греч. мифологии легендарный скульптор, царь Кипра, влюбившийся в созданную им статую Галатеи.

[2] блюсти́ (*высок.*) — uzturēt; ievērot

[3] благопристо́йность (*уст.*) — pieklājība; godprātība

Старая школа, старая школа! Бывший дворец саратовского губернатора! Мхом заросла твоя крыша, тлёном[1] пропи́таны красивые твои колонны и гербы. Не угодливые чиновники самодержавной России должны выходить из твоих стен, а новые люди, борцы с троном и крепостным невольничеством! Всё перевернуть в этих юных головах, вывести их на вольный белый свет!

С такими мыслями поднимался Чернышевский на другой день в гору, подходя к гимназии.

Устарели учебники, устарели! Надо создать новую грамматику, в которой подлежащее и сказуемое незаметно и прочно вплетались бы в незабываемые образцы художественной прозы и поэзии. И надо выбрать такие страницы из лучших писателей, которые будили бы ум высокочеловеческими чувствами, развивали бы в обречённых на порку чувство уважения к достоинству человеческой личности и вызывали бы сочувствие к тем людям, которых они и не знают: к борцам, погибающим за лучшую жизнь на земле. И он, Чернышевский, может это сделать. Его союзники — великие поэты родной страны и мировой литературы.

Первый урок пролетел незаметно для учеников. Каждая из дальнейших встреч с учителем в классе захватывала их сердца неожиданной радостью духовного роста. То придёт Николай Гаврилович с такой новой, неизвестной книгой, как «Ревизор» Гоголя, и всю эту книгу в лицах прочитает: ученики как в театре сидят. То такое стихотворение Пушкина найдёт, после которого призадумаешься: просто ли это «Пир Петра Великого», и просто ли царь «с подданными ми́рится» после победы над шведами, или о ком-то ещё нужно вспомнить царю, кто томится в далёкой Сибири. Как незаметно вкладывает новый учитель эти мысли в юные головы.

А поэма Лермонтова «Три пальмы»?

Разве забудешь когда-нибудь ма̀стерское чтение учителя об этих пальмах? Ведь это же не деревья, а люди с их мечтами о прекрасной жизни. Им хочется красоты и радости, и вот они дождались каравана, к ним идёт «верблюд за верблюдом, взрывая песок».

Перед глазами проходит картина невиданной красоты. Из душного класса мальчики переносятся в какой-то

[1] тлен (*уст.*) — pīšḷi; trūdi

сказочный мир. Учитель видит их взволнованные лица. И сам он взволнован. Но его цель — не баюкать сказкой. Впереди у них жизнь, может быть нелёгкая, и они должны быть к ней готовы.

— Не правда ли, жаль этих пальм, — говорит Чернышевский. — Так роскóшно[1] они цвели, так хотелось им жить. И вот они погибают. Но подумайте, как они погибли. Ведь они отдали жизнь, чтобы защитить людей от ночного холода и от диких зверей пустыни. Так не лучше ли так погибнуть, чем без пользы жить на свете? Хороша жизнь, но самое высокое счастье — не пожалеть самóй жизни своей для блага людей!

Глубокое молчание следует за этими словами. Точно накапливая силы, молчат будущие авторы прокламаций 60-х годов Умнов и Песков, молчат будущие основатели тайного общества «Библиотека казанских студентов» Мосолов и Шатилов, молчит будущий секретарь Чернышевского, впоследствии писавший под его диктовку, — Миша Воронов. Тень убитого царизмом поэта неслышно прошла между ними, взывая к отмщению. А рука молодого учителя как бы раскрыла перед юношами широкие ворота к бурному морю народных событий.

Так зарождался первый революционный отряд Чернышевского, за которым затем в разных городах последуют другие, влившись в общий поток революционного движения 60-х годов. Это движение учитель Саратовской гимназии возглавит уже как идейный вождь крестьянской революции в России.

Спит ночной Саратов. И снится ему сон. Вот из городской канавы выскользнула серая змейка. Маленькая, юркая[2]. Спряталась в траве. А за ней другая, третья... и ещё, и ещё... Всех не пересчитаешь. Ползут друг за другом, да так быстро, что за ними и не угонишься. Свились в клубок, из клубка побежали в разные стороны: в улицы, в переулки, на площадь, к дому губернатора, в богатые дома... Не то шелест травы, не то деревья чуть зашумели, не то змейки шипят. Если прислушаться, разобрать можно: «Чер-ны-шевский! Чернышевский!..» Одна змейка под кровать губернатора спряталась, другая в учительскую гимназию под кресло директора пробралась...

[1] роскóшно — grezni; krāšņi

[2] юркий — kustīgs, veikls

Ёжится[1] старый город от назо́йливого[2] шёпота: «Чернышевский проповедует революцию! На днях один ученик спросил его про французскую революцию, так он на доске целый план заседания Конвента изобразил! Наметил даже, где какая партия сидела...»

Можно ли заснуть Алексею Андреевичу Мейеру? Служит он директором гимназии честно, добросовестно, ни в чём крамо́льном[3] не замечен. Любит посидеть за самоварчиком с томиком Державина или Ломоносова в руках. Было какое-то недоразумение с директором Менделеевым, который позволял ученикам, жившим в пансионе, при гимназии, скоро́мное[4] кушать в постные дни, так от него живо избавились. А тут Чернышевский! «В Камчатку меня упеку́т[5] из-за этого вольнодумца!» Не спит директор гимназии. Всё думает, думает... Не так-то просто упечь куда-нибудь сына протоиере́я[6], уважаемого всеми в городе. И ведь какой тонкий это хитрец! Раз директор вошёл в класс послушать, что такое внушает новый учитель ученикам, и спрашивает: «Ну, о чём вы тут беседуете?»

А Чернышевский так невозмутимо отвечает:

— Мы, Алексей Андреевич, беседуем о фигурах умолчания!

Нашёлся ведь что сказать. Из теории словесности свой кинжал вытащил. А директор тоже неглуп: по усмешкам вытянувшихся в струнку учеников всё прочитал. Смеются над ним бессовестные мальчишки. Горой за своего учителя стоят. Нет, надо придумать что-нибудь.

Архиерею саратовскому ещё тошнее. Юркнула змейка и в его покои. На днях Чернышевский позволил себе такую богопротивную шутку, что и подумать страшно. Говорит, что на месте творца по-другому устроил бы землю: защитил бы север горами от холодов, пустил бы прохладного ветра в пустыни, напоил бы сухую землю, чтобы климат на пользу людям переменился. С нами крестная сила! Разве может человек супроти́в воли

[1] ёжиться — rauties čokurā, bozties

[2] назо́йливый — uzmācīgs

[3] крамо́льный (*уст.*) — dumpīgs; sazvērniecisks

[4] скоро́мное — gavēņa laikā aizliegts ēdiens

[5] упе́чь (*прост.*) — здесь: отправить куда-нибудь далеко или против воли

[6] протоиере́й (*церк.*) — virsmācītājs

божьей идти? Как есть, так и положено быть. И это сын всеми нами почитаемого отца! Надо хоть осторожно, да губернатору доложить. Не место такому опасному человеку в нашем городе. Ворочается архиерей в пухо́вых пери́нах[1]...

Призадумался и губернатор. Бывший казачий атаман, он принимает посетителей на таком седа́лище[2], которое напоминает ему недавние боевые подвиги: покорение Хивы и Бухары. Сидит он не на стуле, не в кресле, а в настоящем казацком седле, украшенном бирюзо́й[3]. Точно к каждому пришедшему выезжает навстречу на своём боевом коне. А недавно ещё благодарность от царя получил за усмирение крестьянского бунта в Саратовской губернии.

Как не показать себя после этого раду́шным[4], хлебосо́льным[5] хозяином устрашённого Саратовского края? Пусть вино льётся рекой, пусть за столом подвластные ему дворяне любуются его золотым оружием. Крепкий кулак занесён над крестьянскими головами. Зверским избиениям подвергаются их ходоки к царю, на дороге их ловят и возвращают. Целыми семьями переселяют в Сибирь, пусть на тачках своё добро туда везут, раз в Мариинской колонии не понравилось. Не нужны Матвею Львовичу Кожевникову лебединые пруды да беседочки в парке покойного его предшественника Алексея Давыдовича Панчулидзева. Он не дарит своим красавцам пирогов с начинкой из золотых монет, он прежде всего — воин-усмиритель, ему дорога́ только милость батюшки-царя.

Но как быть с учителем Чернышевским? Беспримерной честности протоиере́й Гаврил Иванович. И умён, и кро́ток[6], как голубь. Осыпан наградами. Праведной жизни человек. А о сыне слухи такие неприятные. Оставить так нельзя. Сон бежит и от правителя губернии, как только серые змейки по нему пробегут.

И вот губернатор — почётный гость протоиерея.

— С сынком вашим желательно познакомиться.

[1] пухо́вая пери́на — dūnu pēlis

[2] седа́лище — sēdeklis

[3] бирюза́ — tirkīzs

[4] раду́шный — laipns; sirsnīgs; viesmīlīgs

[5] хлебосо́льный — viesmīlīgs

[6] кро́ткий — lēnīgs; rāms

Видно, очень он у вас занят, не бывает у меня на обедах. Люди университетского образования редки у меня за столом. Не пожалует ли сынок ваш к нам в воскресенье?

Долго после этого уговаривает протоиерей своего сына. Наконец Николай сдаётся. Как держал он себя на обеде у губернатора, так и осталось неизвестным. Только потом говорил Чернышевский:

— Столько вина там было, что я после обеда целый день ходил по городу, чтобы голову освежить. Не для меня такие обеды.

Однако стало ясно Николаю: не удержаться ему долго в Саратове. Серые змейки и в отцовский дом поползли. Из казанского учебного округа пришли неблагоприятные, придирчивые отзывы о внеклассных сочинениях его учеников. В них отмечалась чрезмерная самостоятельность мысли и сочувствие к писателям, выступавшим на защиту обездоленного крепостным правом народа.

Директор, учитывая все обстоятельства, принял на себя «благородную» роль. Он вызвал Чернышевского к себе, и у них произошло объяснение.

Мейер осторожно повёл речь о возможности отъезда опасного учителя из Саратова. Николай Гаврилович в свою очередь сообщил о получении письма из Петербурга: ему приготовлена должность учителя в кадетском корпусе, которую он должен занять возможно скорее. Кроме того, он пишет диссертацию, а в Саратове нет библиотек. Здесь, в Саратове, зародилась у него мысль написать такую диссертацию, которая перевернула бы старые понятия об искусстве и явилась бы совершенно новым вкладом в науку — науку материалистическую, направленную на служение народу, на борьбу с ненавистным самодержавием, с опостылевшим[1] крепостничеством.

НЕВЕСТА

— Опять маменька велят белое платье надевать! Ну как я его надену? Ведь я же в нём как муха в молоке! Сама посуди, нянечка! Ты моя единственная советница...

— Правда, Олюшка, лучше бы палевое или голубое.

[1] опостылевший (*разг.*) — apnicis, apriebies

Но раз уж Анна Кирилловна так желают, нельзя не послушаться.

— А я вот не послушаюсь. Знаешь, что я придумала? Ты только не запирай ставни у моего окна.

Ольга Сократовна облачáется[1] в белое платье. Её смуглое лицо залилось румянцем, глаза заблестели, в них запрыгали весёлые искорки. Потýпив[2] непокорные глаза, она чинно вступает в спальню к матери. Анна Кирилловна оглядывает наряд дочери критическим взглядом.

— Ну вот, всегда слушайся мать, надевай на бал белое платье, как подобает генеральской внучке. Ты не цыганка какая-нибудь, чтобы в пёстрых юбках плясать. Рада бы мони́сто[3] ещё на шею нацепить. Держи себя благовоспитанно, громко не смейся, глазки опускай перед кавалерами.

Дочь целует протянутую руку матери и удаляется. Анна Кирилловна спокойно засыпает. Минут через десять в комнате Ольги Сократовны распахивается окно, и во двор легко выпрыгивает девичья фигурка. Из-под широкого салóпа[4] виднеются голубые воланы, пуховый платочек скрывает шу — украшения из лент по обеим сторонам причёски. Быстро пробежав до саней, Ольга Сократовна усаживается рядом с подругой, заехавшей за ней. Они едут на вечеринку к Патрикеевым. Ведь нынче мàсленица[5] — блины, катанье. И в верёвочку поиграют, и опять будет там новый учитель, над которым так хочется подшутить: очень уж серьёзен, очень уж внимательно глядит из-под своих очков.

У Патрикеевых шумно. Молодёжь спорит: кто первая красавица в городе — старшая Патрикеева или старшая Васильева. С приездом Ольги Сократовны смех и шум усиливаются. Горы блинов быстро исчезают со стола и вновь появляются. Жарко, душно. Хочется на улицу: сегодня со всех сторон звенят бубенцы троек.

Лошади уже взрывают снег под ногами. Ольга Сократовна выходит с двумя подругами на крыльцо. «Эх, за-

[1] облачáться — ietērpties

[2] потупи́ть глазá — nolaist acis

[3] мони́сто — kaklarota

[4] салóп (*уст.*) — широкое женское пальто

[5] мáсленица — старинный славянский праздник проводов зимы

лётные!» — кричит кучер, и девушки мчатся прямо к Волге.

Широкая русская масленица, нет в тебе удержу, вся ты как гоголевская птица-тройка! Бешено несутся лошади, подвыпивший кучер всё чаще взмахивает разукрашенным кнутом. Кругом песни и крики разгулявшихся саратовцев. Всё перемешалось, не сдержать тройки. Кони будто тоже захмелели. Сугроб так сугроб, всё равно! И вот зацепились за него сани, и мчатся себе, опрокинутые и пустые, дальше по снежной волжской равнине. Точно чья-то неведомая рука выбросила девушек прямо на заледеневшую Волгу. «Батюшки!» — кричат кругом. Слышен девичий визг. Девушек подбирают, рассаживают в другие экипажи и развозят по домам. Там их ждут тёплые постели, припáрки[1] и материнские слёзы.

Только одна из подруг хохочет-заливается.

— Не надо домой, везите меня обратно в гости, — кричит Ольга Сократовна.

И вот она опять за столом у Патрикеевых.

— Как это случилось? Рассказывайте! Ведь и вы ушиблись?[2] — обступают её хозяева и гости.

— Конечно, ушиблась, — со смехом отвечает она. — Ведь я первая выпала, а на меня все остальные. Что ушибла? Правый бок. Ну так что ж? Поболит и перестанет.

И не замечает Ольга Сократовна, с каким восхищением смотрит на неё новый учитель. Щёки у неё разгорелись, глаза — как звёзды, а голос — весёлый и звонкий, как колокольчик.

«Красавица!» — думает Николай Гаврилович, любуясь ею.

И сердце его вспыхивает и замирает: да, именно красавица, именно о такой избрàннице[3] он и мечтал ещё в студенческие годы. Нет в ней жемàнства[4] провинциальных девиц, нет страха перед опасностью, она смело глядит ей в глаза. Такою должна быть спутница жизни революционера. Скоро он всё это ей выскажет.

В эту ночь в мезонине над Волгой взволнованная рука исписывает страницы дневника. Он называется:

[1] припáрка — sautējoša komprese

[2] ушибúться — sasisties

[3] избрáнница (*высок.*) — izredzētā

[4] жемáнство — klīrēšanās

«Дневник моих отношений с той, которая составляет моё счастье».

В этой тетради мы читаем: «Я хочу любить только одну во всю жизнь... Я хочу, чтобы моё сердце не только после брака, но и раньше брака не принадлежало никому, кроме той, которая будет моей женой... Пусть у меня будет одна любовь. Второй любви я не хочу».

А пока еще идут дни незабываемых встреч и ночами охватывает раздумье: шутят они с ней, и бумажку от конфетки она ему прислала в летучей почте со словом «О. Чернышевская», и в альбом ей написал он о том, что «женщина должна быть равна с мужчиною», и все уже видят, что иначе как браком не кончится у них, а всё-таки самого главного не сказано. Если он честный человек, то должен сказать ей об этом. Много бессонных ночей в тяжёлом раздумье провёл Чернышевский.

19 февраля 1853 года тихими шагами подходит к дому с колоннами на Армейской улице молодой человек в очках. Снег скрипит под ногами. Со двора из окон доносится музыка. В доме собралась молодежь. Дверь отворяет сама Ольга Сократовна. На ней домашнее платьице с кисейной[1] косынкой.

— Николай Гаврилович? Раздевайтесь, пойдёмте танцевать. У меня подруги собрались.

Он отрицательно качает головой и присаживается к окну в столовой. Ольга Сократовна приносит ему чашку с чаем. Он поднимает голову, машинально смотрит на часы. Часы показывают половину пятого. Всё, всё надо запомнить: этот день должен решить судьбу. Ольга Сократовна с удивлением вглядывается в лицо Чернышевского. Она никогда не видела в нём такого выражения. Что он хочет сказать ей? Видно, ему сейчас действительно не до шуток и не до танцев. Она не решается прервать наступившего молчания.

Наконец в тишине раздаётся его тихий, задушевный и вместе с тем такой твёрдый голос:

— Выслушайте искренние мои слова...

И Чернышевский раскрывает перед девушкой своё сердце. Он всё обдумал. Его путь избран раз и навсегда. Этот путь неминуемо должен будет закончиться тюрьмой, каторгой, ссылкой, а может быть, и виселицей. Имеет ли

[1] кисейная (*разг.*) — здесь: прозрачная, тонкая

право такой человек на личное счастье? Ведь каждую минуту за ним могут явиться жандармы, чтобы запрятать его в Петропавловскую крепость, и тогда вряд ли он выйдет оттуда. Недовольство народа чиновниками, налогами, правительством всё растёт. Скоро будет бунт. Он непременно примет участие в нём. Его ничто не испугает.

И Чернышевский предлагает любимой девушке отказаться от него, как от опасного человека.

— Не испугает это меня, — отвечает Ольга Сократовна.

На минуту она исчезает в соседней комнате, откуда доносятся музыка и смех. Вот она опять в столовой. Улыбается, открыто смотрит в глаза собеседнику. В руке у неё маленький ключик. Она протягивает его Чернышевскому. Всё понятно. По старым саратовским обычаям это обозначает, что девушка дарит ему ключ от своего сердца. Тогда Николай Гаврилович, в свою очередь, вынимает из кармана большой ключ и отдаёт его Ольге Сократовне.

— Откуда у вас такой большой ключ? — вспыхивает она от неожиданности, не зная, что сказать.

— От письменного стола, — также в замешательстве шепчет Чернышевский.

— Как же вы останетесь без него?

— У меня есть ещё другой...

29 апреля 1853 года состоялось венчание. В памяти саратовцев осталось необычное для жениха поведение Чернышевского в церкви. Вопреки всем правилам он скрестил руки на груди и, не отрываясь, глядел на невесту. Никто не понял, почему в этот час он любовался ею. Это была не только любимая девушка, это был человек, согласившийся разделить с ним будущую его судьбу. Никогда потом Чернышевский не мог позабыть, что золотое кольцо, надетое в церкви на маленькую ручку новобрачной, было для неё символом его будущих кандалов, а всё остальное не имело для него никакого значения. И к этой, единственной за всю его жизнь, подруге свято сберёг Чернышевский своё лучезáрное[1] чувство.

Через несколько дней после свадьбы молодые уехали в Петербург.

[1] лучезáрный (*высок.*) — šeit: gaišs

ЗА ОГРАБЛЕННЫХ И РАЗОРЁННЫХ

С утра 5 марта 1861 года на всех улицах Петербурга были расклеены большие отпечатанные листы за подписью императора Александра II. Это был манифест о так называемом «освобождении» крестьян.

Собираясь группами, люди читали «царскую бумагу» и с недоумéнием[1] разводили руками. Крепостные крестьяне объявлялись как будто свободными, но почему же земля оставалась помещичьей и нужно было опять работать на господ? Почему за крохотные надéлы худшей землú[2], отводившийся крестьянам, они должны были заплатить 867 миллионов рублей? Дворовые согласно манифесту обязаны были ещё два года оставаться в повиновéнии[3] у господ.

— Два года!.. Как бы не так! Станем мы повиноваться! — восклицали некоторые, прочитав манифест.

Другие молчали. Это молчание не предвещало ничего хорошего для «царя-освободителя».

К вечеру Александр II поехал в коляске по городу. При появлении царя народ был обязан вставать на колени и приветствовать его. Ожидались возгласы благодарности за дарóванную «милость». Улицы были полны народа. Но при появлении царского экипажа люди опускались на колени и молча стояли в грязи на мостовой. Не было слышно радостных криков.

Ничего, кроме негодования в народе, не вызвал царский манифест. Так было по всей России. Крестьяне не мирились с таким «освобождением». Они собирались по ночам в овúнах[4], при свете лучúны[5] читали и перечитывали манифест, никак не соглашаясь идти в новую кабалý[6] к помещику.

Вскоре в ряде уездов России вспыхнули крестьянские волнения.

Царь выслал для усмирения карательные отряды. Многие тысячи крестьян были зарублены, засечены, сосланы в Сибирь на каторгу. Вожак крестьянского вос-

[1] недоумéние — neizpratne

[2] надéл землú (*ист.*) — [iedalīts] zemes gabals

[3] повиновéние — paklausība; pakļaušanās

[4] овúн — rija

[5] лучúна — skals

[6] кабалá — jūgs

стания в селе Бездна Казанской губернии Антон Петров был расстрелян. Студенты Казанского университета, среди которых было много учеников Н. Г. Чернышевского ещё по Саратовской гимназии, устроили демонстрацию в связи с похоронами убитых крестьян.

Кровавая расправа царя вызвала гневный протест со стороны защитников народа — революционных демократов.

«Современник» откликнулся на эти события статьёй, в которой Антон Петров выдвигался как народный вожак высшего типа в сравнении с Пугачёвым: он сознательно толковал смысл манифеста крестьянам. Однако поражение Антона Петрова показывало, что у большинства крестьян ещё не было политической сознательности, им нужно было раскрыть глаза на жестокость царя, в которого они всё ещё верили.

Революционные демократы во главе с Чернышевским видели, что следует от слов переходить к делу, что нужно готовить крестьян к организационным выступлениям против царя и помещиков.

Всё чаще стали собираться у Николая Гавриловича его ближайшие друзья. Ещё с 1858 года в связи с изданием «Военного сборника» вокруг Чернышевского сгруппировались профессора, преподаватели и слушатели Военной академии Генерального штаба и военных училищ. Редакция «Современника» в лице Чернышевского, Некрасова, Шелгунóва[1], Михáйлова[2] превратилась с того времени в настоящий штаб революционных сил, куда стекались лучшие люди русского общества.

Назрела необходимость в выпуске прокламаций в виде воззвáний[3] к народу. Назрела необходимость в создании подпольной организации, которая руководила бы действиями строго отобранных членов по совместно выработанному плану и держала бы связи с такими же организациями, разбросанными по всей России.

Нужно было действовать не из-за границы, а прямо здесь, на родине, на русской земле.

Это хорошо понимал Чернышевский, с молодых лет

[1] Шелгунóв Николай Васильевич (1824—1891) — русский революционер-демократ, публицист, литературный критик.

[2] Михáйлов Михаил Ларионович (1829—1865) — русский писатель, революционер, переводчик. Умер на каторге.

[3] воззвáние — uzsaukums

вынашивавший идею подготовки народной революции. Настала пора действовать.

Царь!.. Олицетворéние[1] жестокости и насилия, всего самого грубого, бесчестного! Как растолковать народу, что не только в помещиках дело, а и в самом строе, в царизме, в царе?!

Вечер. В первом этаже высокого каменного дома, где живут Чернышевские, ещё нет света.

— Зажги свечи, Оленька, и опусти шторы, — просит Николай Гаврилович жену.

— Ты сегодня какой-то особенный. Кто-то к тебе придёт? — беспокоится Ольга Сократовна.

— Как всегда — Шелгунов с Михайловым. А ты иди к молодёжи, тебя ждут.

Ольга Сократовна вышла. Скоро из гостиной донеслись звуки рояля, и хор молодых голосов дружно грянул:

Из страны, страны далёкой,
С Волги-матушки широкой
Собралися мы сюда...

В кабинет Чернышевского вошли Шелгунов и Михайлов. Николай Гаврилович пригласил их к столу и запер дверь. Беседа шла об «освобождении» крестьян.

— Чем хуже, тем лучше, — сказал Чернышевский. — Обманутый народ сам теперь увидит, до чего довёл его царь-батюшка. А когда он это увидит, когда поймёт, что помещикам нет дела до него, то сам скорее вступится за свои права. Быть пожару. Надо нам договориться, кому с какой стороны искру бросить.

— Прокламация «К молодому поколению» у меня готова, — говорит Михайлов. — Николай Гаврилович об этом знает.

Шелгунов взволнованно обращается к Чернышевскому:

— Я напишу ещё к солдатам. А вы, Николай Гаврилович... кому, как не вам, обратиться к народу, к крестьянству! Вы лучше всех нас знаете, каково его положение сейчас. Каждая ваша статья в «Современнике» по крестьянскому вопросу бьёт по самодержавию.

— Но не могут мои статьи в «Современнике» звучать в полный голос. Нужно непосредственное обращение к

[1] олицетворéние — iemiesojums

народу, который «Современника» не читает. Вот послушайте: «Ждали вы, что даст вам царь волю, вот вам и вышла от царя воля. Хороша ли воля, какую дал вам царь, сами вы теперь знаете... оболгал он вас, обольстúл[1] он вас...»

Долго слышался негодующий голос Чернышевского, Шелгунов внимательно слушал, изредка переглядываясь с Михайловым.

«Так вот она какая в испрáвду-то[2] воля бывает на свете: чтобы народ всему голова был, а всякое начальство миру покóрствовало»[3], — продолжал Чернышевский.

В воззвании проводилась мысль, что власть должна выбираться народом из своих рядов, а не по наследству переходить от царя к царю, тогда легче будет жить трудовому люду.

Друзья слушали и обсуждали воззвание. Особенно важен был конец его: обманутое царём крестьянство призывалось к вооружённому восстанию, это восстание нужно было провести сплочённо и организованно.

ПРЕДАТЕЛЬ

— Николай Гаврилович! Какой нужный человек появился! — с этими словами Михайлов обратился к Чернышевскому, едва успев снять с себя шубу и направляясь в маленький кабинетик хозяина дома.

— Печатный станок у него! — торжественным полушёпотом объявил Михаил Ларионович. — В Москве живёт, сюда приедет. Плещéев[4] обещал дать ему рекомендательное письмо к вам. Ждём его со дня на день. Вот кто будет наши прокламации печатать! В Лондон ездить больно далеко, надо своего человека здесь под рукой иметь!

— Как его фамилия? — спросил Чернышевский.

— Легко запомнить: Костомаров. Но с известным историком Николаем Ивановичем Костомаровым в родстве не состоит. А зовут его Всеволодом Дмитриевичем.

[1] обольстúть — savaldzināt; apburt

[2] в испрáвду-то (*уст.*) — īstenībā

[3] покóрствовать (*уст.*) — покоряться, быть покорным

[4] Плещéев Алексей Николаевич (1825—1893) — русский поэт некрасовской школы.

Иностранными языками владеет, английских поэтов переводит. Сотрудником «Современника» может стать.

— Такие люди нам очень нужны, — говорит Чернышевский.

В доме Чернышевских вечеринка. Под звуки старинного вальса медленно кружаться пары. Ольга Сократовна весело и шумно принимает гостей. Ей нравится, что Михайлов сегодня приехал не один: с ним новый знакомый в ула́нском[1] мундире. Он, наверное, будет развлекать сестёр Пыпиных и их подруг.

Но Михайлов скрывается со спутником в кабинете.

— Вот вам наш новый друг, Николай Гаврилович! Рекомендую: Костомаров Всеволод Дмитриевич, о котором я вам говорил. Оставляю его в ваше распоряжение, а сам пойду в гостиную: обещал Ольге Сократовне стихи в альбом написать.

Чернышевский остаётся беседовать со своим новым гостем.

— Что вы теперь пишете? Давно ли занимаетесь литературой? — спрашивает он.

— Издаю литературный сборник, — скромно отвечает собеседник. — Пишу стихотворные переводы, да сами знаете, как свире́па[2] цензура: жить не даёт. Вообще в России все дела сейчас идут плохо.

— Так-таки и плохо? Ничего хорошего нет? Пессимист вы, Всеволод Дмитриевич.

И Чернышевский проделывает с Костомаровым то же, что делал не раз, когда незнакомые люди сразу начинали критиковать порядки в царской России: с позиций ретрогра̀да[3] защищает эти порядки, чтобы дать собеседнику возможность прийти к окончательному выводу о необходимости революционного сдвига.

Так пишутся им и статьи в «Современнике», рассчитанные на цензуру.

Костомаров не понимает этого. Он сбит с толку. Замолкает. Беседа не клеится. Остаётся раскланяться и уйти...

[1] ула́н — в царской и некоторых иностранных армиях: военный из частей лёгкой кавалерии

[2] свире́пый — nikns

[3] ретрогра́д (*книжн.*) — противник прогресса

На другой день Михайлов дружески упрекает Чернышевского:

— Что это вы занимаетесь охлажде́нием молодых людей? Ведь я же сказал вам, что у Костомарова печатный станок. Он готов печатать наши воззвания. Я договорился с ним.

Чернышевский не возражает старому другу. Он передаёт Михайлову текст прокламации. Её переписывают. Кто переписал — так и осталось неизвестным.

Друзья увозят рукопись в Москву.

Но через некоторое время Костомаров сообщает Михайлову, что эту рукопись у него якобы украл брат Николай, который теперь угрожает донести в полицию. У Костомарова остаётся прокламация Михайлова «К молодому поколению», отданная ему автором для распространения.

ЗАЗВЕНЕЛИ СРЕБРЕНИКИ[1]

Сентябрь 1861 года. В редакции «Современника» горе и смяте́ние[2]. Как громом все поражены страшным известием: арестован Михайлов. Он, поэт высокой души, отдавшийся всем своим существом революционной борьбе, такой жизнерадостный и живой человек, автор чудесных переводов Гейне, — и вдруг Петропавловская крепость, кандалы, Сибирь!

Донеслась эта зловещая новость и до Ольги Сократовны. Ей не было известно, зачем ездил Михайлов за границу к Герцену, она не видела привезённых им оттуда прокламаций «К молодому поколению» с призывом о мести царизму. Одно ясно жене Чернышевского: каким ударом это будет для Николая Гавриловича. Ведь это же один из самых близких его друзей.

«Надо дать знать Николаю Гавриловичу, — думает Ольга Сократовна. — Но как ему сообщить, если он так далеко, в Саратове! Ни телеграммой не известишь, ни поехать туда нельзя. Остаётся только писать. Но разве напишешь прямо о случившемся?» Ольга Сократовна ходит по комнатам, потом садится к столу.

[1] сре́бреники — за тридцать сребреников продать (предать) кого-либо; из низких корыстных интересов предать чьи-нибудь интересы (30 серебряных монет — цена предательства библейского Иуды)

[2] смяте́ние — здесь: тревога

В этот день было написано самое нежное, самое ласковое письмо жены к Николаю Гавриловичу, где она горячо умоляет мужа скорее возвращаться.

Чернышевский, ещё не получив этого письма, стал готовиться к отъезду в Петербург.

Скоро по городу пошли упо́рные[1] слу́хи: Михайлова предал Костомаров.

КАЗЁННАЯ КАРЕТА

Матрёна Баранова по договоренности своего мужа с полицией проникла в квартиру Чернышевских как кухарка. Муж Матрёны — швейцар в доме Есауловой по Большой Московской, где живут Чернышевские. Он всматривается во всех входящих в дом, прислушивается к их разговорам, запоминает фамилии.

Слежка началась за девять месяцев до ареста. Чернышевский сразу почувствовал нела̀дное[2], когда после ссылки Михайлова стал получать анонимные письма с угрозами и злове́щими[3] предсказаниями.

Ещё на похоронах Добролюбова бросились ему в глаза гороховые пальто, прятавшиеся за деревьями, опушёнными первым снегом. Так одевались только сыщики. Надо было защищаться. Прежде всего Ольга Сократовна отпустила прислугу и стала открывать двери сама. Николай Гаврилович заказал ключи для письменного стола и стал всё запирать, ключи брал с собой, когда уходил.

Квартира Чернышевского в это время являлась штабом, в котором сосредоточивались лучшие силы русского общества, надеявшиеся на крестьянскую революцию. Редактор «Современника» Некрасов бывал у Чернышевских чуть ли не ежедневно. Братья Николай и Александр Серно-Соловьевичи вместе с полковником Н. Н. Обручевым, создавая тайное общество «Земля и воля», постоянно наведывались к Чернышевскому: он давал им ценные советы, выражал желание поддержать общество с трибуны «Современника».

Далеко в Лондоне к ним прислушивались Герцен и Огарёв, пославшие в Петербург для переговоров моло-

[1] упо́рный — настойчивый

[2] нела́дный — плохой, нехороший

[3] злове́щий — draudīgs

дого энергичного А. Слепцова. Из Курска на Большой Московской появляется готовый поднять восстание в Литве полковник Савицкий. Студенты ведут переговоры с Ольгой Сократовной о том, чтобы достать Николаю Гавриловичу, в случае опасности, заграничный паспорт. Он отказывается, он не хочет порывать с родиной. Он продолжает борьбу. А шпики продолжают слежку.

Но недаром Чернышевский славился как умнейший конспиратор. В агентурных донесениях о нём прежде всего говорится о том, что народу к нему ездит «тьма». Как разобраться в этой «тьме»?

Услужливые шпики изо всех сил стараются, но почти всё путают: и имена, и фамилии, и шубы, и шинели. Савицкий у них похож на Новицкого, полковник Обручев и Рехневский кажутся им одним и тем же лицом, а работник типографии «Современника» представляется особенно страшным и опасным из-за одного своего звания «метранпа̀ж»[1], которое они принимают за фамилию.

Агенты чуть не плачут: стол Чернышевского недоступен, и главное — «мадам Чернышевская». Она особенно мешает вести наблюдение: сама открывает двери посетителям и всё время стоит у окна, из которого хорошо видно, кто подходит к подъезду. Ну как тут спрячешься?

На кухарку Матрёну Баранову у агентов большая надежда. Вот Матрёна в третьем отделении. В руках у неё бумаги.

— Это из *его* сорной корзины, — с торжеством заявляет Матрёна.

Бумаги прочитаны и отданы ей обратно. В них нет ничего «недозволенного». Опростоволо́силась[2] Матрёна.

— Тьфу, про́пасть! — бормочет она, спускаясь с лестницы.

Матрёне ничего не удалось сделать.

Беда обрушилась на Чернышевского совсем с другой стороны.

...Медленно подошёл к Кронштадту английский пароход «Пассифик».

По трапу с толпой пассажиров спустился скромно одетый служащий торгового дома с небольшим чемоданчиком. К нему подошли жандармы. Они уже

[1] метранпа́ж — старший наборщик в типографии

[2] опростоволо́ситься — palikt muļķa lomā

предупреждены, что фамилия его Ветошников и что едет он с запрещённой литературой от Герцена.

Недаром агент третьего отделения Перетц появлялся в доме Герцена вместе с его гостями, приезжавшими из разных городов и стран и служившими посре́дниками[1] между лондонским центром и революционными кружками и организациями. Здесь вырабатывались планы «повсюдного восстания» в России, здесь было решено, что подпольное общество «Земля и воля» будет организовано в Петербурге, здесь было утверждено самое его название. «Колокол» отзывался на все проявления дикого произвола, которым самодержавие калечило жизнь народных масс в России.

Летом 1862 года Герцен, узнав, что журнал «Современник», в котором работал Чернышевский, запрещён, написал другу и соратнику Николая Гавриловича Н. А. Серно-Соловьёвичу, что готов издавать его журнал вместе с Чернышевским за границей. Письмо было отдано Ветошникову для передачи русским друзьям. При аресте чемодан Ветошникова был вскрыт жандармами. Достаточно им было увидеть имя Чернышевского, чтобы на другой же день в дом Есауловой «вошли полковник Ракеев и пристав Мадьянов», как потом сообщалось в официальных документах.

Это произошло 7 июля 1862 года.

Солнечный свет заливал столовую, в которой находился Николай Гаврилович со своими друзьями: членом «Земли и воли» Петром Ивановичем Боковым и сотрудником «Современника» Максимом Александровичем Антоновичем.

— Видно, надолго запретили наш журнал, — проговорил Антонович, — что вы думаете теперь делать?

— Надо сборник готовить, — отвечал Чернышевский, — я уже начал подбирать материалы и людей для них. Ведь вы знаете, любимое моё занятие в часы «отдыха» за письменным столом — писать популярные статьи для ознакомления широких масс с идеями великих мыслителей. Мне уже удалось поговорить...

Он не докончил: в передней раздался резкий звонок, и вслед за ним в дверях показалась грузная фигура жандармского полковника.

[1] посре́дник — starpnieks

«Ракеев!» — мелькнуло в голове Чернышевского и его гостей.

Ракеев — лицо известное. Он даже хвалился своей близостью к «литературному миру»: это ему было дано секретное поручение из дворца — перевезти тело Пушкина в Святогорский монастырь, и он сделал это с предельной скоростью в ту же ночь, отняв у народа возможность проститься с великим поэтом.

— Мне нужен господин Чернышевский, — вежливо обратился полковник к присутствующим.

— Я Чернышевский, — вставая с места, отвечал хозяин дома.

— Разрешите пройти в ваш кабинет.

После этих слов Чернышевский исчез. Жандарм даже не успел опомниться.

— Покажите же мне, где кабинет! — растерянно и раздражённо[1] закричал он.

Из двери прихожей выглянула подобострастная[2] физиономия спутника Ракеева — пристава Мадьянова. Жестом руки он указал начальству на одну из дверей. Ракеев застал Чернышевского за письменным столом... У подъезда уже стояла казённая карета. Боков и Антонович вышли на улицу, побродили немного в окрестностях дома Есауловой и опять вернулись к нему. Кареты уже не было.

На звонок им открыла дверь заливавшаяся слезами горничная, от которой они узнали, что Николая Гавриловича увезли. В квартире их встретил двоюродный брат Ольги Сократовны, офицер Вениамин Иванович Рычков, проживавший у Чернышевских перед отъездом в армию.

Рычков рассказал, что он ещё застал Чернышевского, когда жандармы уводили его. Николай Гаврилович успел шепнуть Рычкову: «Передайте Утину, чтобы он не беспокоился».

Долго потом задумывались друзья Чернышевского над этими словами. Они не могли быть сказаны случайно в такой момент. Ведь кем был Утин? Активным членом нарождавшегося общества «Земля и воля», одним из самых близких соратников Чернышевского. Невольно возникает сопоставление: быстрое исчезновение Николая

[1] раздражённый — dusmīgs; sapīcis

[2] подобострастный — iztapīgs

Гавриловича из столовой при Ракееве и слова, предназначавшиеся для Утина. Может быть, какой-нибудь минуты замешательства, в которое был поставлен жандарм, оказалось достаточно для уничтожения Чернышевским чего-то, что имело отношение к обществу и его членам? Так думали друзья Чернышевского, но от него самого не успели ничего узнать. Утин вскоре бежал за границу.

Тяжёлые ворота Петропавловской крепости захлопнулись за казённой каретой.

Кончилась свободная жизнь руководителя «Современника» на тридцать четвёртом году. Началась его двадцатисемилетняя политическая смерть: тюрьма, каторга, ссылка, секретный надзор полиции и запрещение его имени в печати не только до конца жизни, но и до первой русской революции.

Ольга Сократовна не увидела, как её мужа и друга увозила казённая карета. За неделю до этого дня Николай Гаврилович проводил её с детьми в Саратов. Сюда и пришло письмо с роковым известием... Как удар грома, поразила всех близких и родных эта новость. «Такой ужас был в доме, такая скорбь, — вспоминала впоследствии Катя Пыпина. — От Ольги Сократовны не отходили, страшно было на неё глядеть».

Но через некоторое время, собравшись с силами, Ольга Сократовна поехала в Петербург для свидания с Николаем Гавриловичем.

В ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ

Заключив Чернышевского в Алексеевский равелин крепости, власти сделали всё, чтобы сломить его волю. Тюремное окно было старательно замазано мелом. Даже луч солнца не проникал к заключенному. Осенью в стёкла стучал бесконечный монотонный дождь, струившийся из свинцового петербургского неба.

Алексеевский равелин. Николай Гаврилович хорошо понимал, что это значит: отсюда или совсем не выпускали узников на свободу или увозили в Сибирь навсегда. Непроницаемая стена отделяла Чернышевского от внешнего мира. Дело за семь месяцев пребывания в крепости ни на шаг не сдвинулось с мёртвой точки.

Однако Чернышевский не чувствовал себя покорённым. Он твёрдо знал, что в его деле улик не имеется.

Воззвание к крестьянам было написано посторонней рукой, так и оставшейся неразгаданной. Чернышевский не признал эту прокламацию своей. Всё, что могло оказаться в руках следственной комиссии по организации тайного общества «Земля и воля», было вовремя уничтожено.

Чувствуя себя сильным с юридической стороны, Николай Гаврилович начал действовать. Несколько писем, в которых он давал смелый отпор по поводу своего ареста, были адресованы им коменданту крепости генералу Сорокину, петербургскому генерал-губернатору князю Суворову и, наконец Александру II. Чернышевский требовал освобождения и свидания с женой.

Глухое молчание было ответом на письма из равелина. Но это не сломило духа великого революционера. Он ответил своим палачам новой попыткой заставить их приняться за разбор его дела. Тюремный смотритель, приносивший обеды Чернышевскому, однажды почувствовал, что в камере распространяется запах разложившейся пищи. Он увидел, что вся она оставляется Чернышевским, который отказался от питания, объявил голодовку. Голодовка продолжалась девять дней. Служитель испугался: это был первый случай голодовки в тюрьме. Он побежал к коменданту крепости. Прислали врача. Увидев ослабевшего, бледного узника, врач исследовал его и составил акт. Чернышевский едва держался на ногах, потому что позволял себе лишь по нескольку глотков воды в день. И тем не менее он заявил врачу, что будет и дальше так продолжать, если не дадут хода его делу.

Следственная комиссия была ошеломлена. Такой редкий случай мог набросить тень на монарха перед Европой. Как это? Писатель, пользующийся в России такой известностью, и вдруг убивает себя из-за жестокости царя?!

И комиссия пошла на уступки. Свидание с Ольгой Сократовной было разрешено.

Николай Гаврилович старался держаться с женой спокойно, утешал и обнадёживал её. Но от Ольги Сократовны не укрылись его худоба, бледность, слабый голос. Обо всём этом она рассказала друзьям.

Дело сдви́нулось с мёртвой то́чки[1]. Но каким было

[1] сдви́нуться с мёртвой то́чки — прийти в движение

это движение? «Царь-освободитель» повелел во что бы то ни стало засудить Чернышевского. «Нет никаких улик и вещественных доказательств? Неважно! Всё это можно найти, если III отделение постарается как следует».

И жандармы постарались. Они привлекли к себе на помощь мрачного человека с глазами, смотрящими исподлобья. Ещё не так давно этот человек был вхож[1] в дом Чернышевских, читал свои переводы передовых иностранных поэтов. Правда, казался писателям «немного неприятным», потому что всё жаловался на судьбу, на нужду, будто был вечно чем-то недоволен, никогда не улыбался... Это был отставной гвардейский офицер Всеволод Костомаров. Он знал много языков и ещё больше почерков. «Я могу писать любым почерком письма от кого угодно и кому угодно», — заявил он в III отделении после того, как его самого арестовали как «подпольщика» вместе с группой московских студентов.

Всеволоду Костомарову и было поручено воспользоваться письмом к нему Чернышевского и другими его рукописями. Письмо было дружественное: в нём Чернышевский обещал материально поддержать Костомарова, обещал помочь, предоставив ему должность преподавателя в кадетском корпусе, писал и о возможности опубликования в «Современнике» его стихотворения.

Костомаров принялся за работу и вскоре представил в следственную комиссию подложный документ. Подделав почерк Чернышевского, он написал записку, якобы полученную им от писателя. В этой записке заключалась просьба внести изменения в текст прокламации «Барским крестьянам» во время её печатания.

Записка была предъявлена Николаю Гавриловичу Чернышевскому, и он отказался признать её своей. «Этот почерк красивее и ровнее моего», — иронически написал он на фальшивке. Секретари сената, которым записка была отправлена на экспертизу, также отметили, что почерки не сходны.

Третье отделение было взбешено. На Костомарова посыпались угрозы и обещания. Он опять засел за своё чёрное дело. Голова у него кружилась. Тысяча рублей за Чернышевского! Ради этого стоило постараться. Рука иуды забегала по листам почтовой бумаги. На четырёх страницах письма, обращённого к неизвестному «Алек-

[1] вхож (в дом) (*разг.*) — часто бывавший, охотно допускаемый

сею Николаевичу», Костомаров со страстью призывал усилить революционную агитацию на Волге, требовал торопиться с организацией кружков и до того переусе́рдствовал[1], что допустил грамматическую ошибку, на которую Чернышевский никогда не был способен. Письмо было опять доставлено в сенат на экспертизу секретарям, — которым было сделано соответствующее тайное предупреждение. Секретари признали, что письмо написано Чернышевским.

Николая Гавриловича привезли в сенат. Письмо торжественно было прочтено ему вслух. Затем секретари задали ему вопросы, связанные с революционным движением в России. Чернышевский держал себя не как обвиняемый, а как суровый обвинитель. На все вопросы он дал отрицательные ответы, в которых разоблачал подло́г[2], и требовал, чтобы ему дали право при помощи лупы и химических средств доказать подделку. В этом писателю было отказано.

И он заявил:

— Вы можете держать меня сколько угодно. Я поседею, умру, но прежнего своего показания не изменю.

Эти слова были занесены в особый акт, оставшийся в деле Чернышевского. Вместе с тем сохранилась и доныне обши́рная[3] записка Чернышевского, в которой он всё же разоблачил подлог В. Костомарова. Бумаги эти остались лежать, погребённые на долгие годы в архиве Петропавловской крепости.

Так как улик о непосредственном участии Чернышевского в революционном движении не было, то III отделение решило засудить его за всё, что он писал в «Современнике». Тайно было составлена профессором Касторским «Записка о литературной деятельности г-на Чернышевского». В ней рассказывалось с приведением множества примеров, как тонко обходил великий революционный демократ царскую цензуру, пытаясь выступить реакционером, а потом самого себя же разбить с революционных позиций. Бывало и так, что Чернышевский приводил вместо своих слов цитату из безобидного и даже реакционного автора, но брал из него то, что надо было использовать в целях революции.

[1] переусе́рдствовать (*разг. ирон.*) — pārcensties

[2] подло́г — подделка

[3] обши́рный (*перен.*) — plašs

Записка сделала свое дело. Приговор Чернышевскому был вынесен: «за злоумышление к ниспровержéнию[1] существующего строя» — четырнадцать лет каторги с поселением в Сибири навсегда.

Многие годы боролся Чернышевский с царизмом своим печатным словом в журнале «Современник» вместе с революционерами-демократами Некрасовым, Добролюбовым, Шелгуновым, Михайловым и другими. Эту борьбу он продолжил и в мрачном каземате Петропавловской крепости, создав там свой роман «Что делать?» — одно из величайших произведений мировой литературы.

«Что делать?» — это гимн революции, которая должна освободить труд человека от порабощения. Это — могучая песня о новой счастливой жизни, о новых, прекрасных людях.

Чистые сердцем, сильные духом проходят перед читателями образы Лопухова и Кирсанова, призывающие строить новую жизнь. Рядом с ними — новая женщина, энергичная, жизнерадостная, общественная деятельница и первая женщина-врач — Вера Павловна.

«Будущее светло и прекрасно, — писал Чернышевский. — Любите его, стремитесь к нему, работайте для него».

Путь к этому будущему — революция. Её готовит могучий богатырь духа, любимый герой Чернышевского подпольщик Рахметов. На его образе воспитались целые поколения отважных и стойких революционеров и в России, и за рубежом. Не случайно этот образ был создан Чернышевским во время личной борьбы с тюремщиками, во время его голодовки в Алексеевском равелине.

ГРАЖДАНСКАЯ КАЗНЬ

Накануне отъезда в Сибирь состоялась гражданская казнь Чернышевского на Мытинской площади в Петербурге.

Это было 19 марта 1864 года. Всю ночь ставили помост, выкрасили его чёрной краской. На этом эшафоте возвышался столб, от которого тянулись цепи. С ран-

[1] ниспровержéние (*высок.*) — уничтожение

него утра сюда бежала толпа. Было много учащейся молодёжи. Студенты института инженеров путей сообщения, переодетые в штатское платье, привели с собой маленькую девушку Марию Петровну Михаэлис. Юноши окружили её и скрыли от глаз полиции, чтобы не было видно, что в руках у девушки большой букет красных роз.

Подъехала чёрная карета, окружённая жандармами с саблями наголо. Появились два палача в красных рубахах, вывели из кареты под руки бледного человека в чёрном пальто. Повесили ему на грудь доску с надписью «Государственный преступник». Возвели по ступеням на эшафот. Царский чиновник прочитал приговор. После этого палач поставил Чернышевского на колени и переломил шпагу над его головой в знак лишения всех прав. Только в этот момент судорога прошла по спокойному лицу Чернышевского, а в толпе воцарилось мёртвое молчание. Затем «государственный преступник» был подведён к позорному столбу и привязан к нему цепями.

Таков был обряд, шедший из глубины средневековья и предназначенный для устрашения народа. Только просчиталось царское правительство. Совершенно неожиданно для полиции к ногам Чернышевского были брошены красные розы. В этот момент лицо Николая Гавриловича просветлело, и он с улыбкой кивнул в ту сторону, откуда был брошен букет. Позорный обряд превратился в публичное торжество. Толпа заволновалась, к эшафоту стали пробираться люди, желавшие проститься с Чернышевским. Жандармы схватили девушку, бросившую цветы. Она была выслана из Петербурга. Чернышевский не простоял у столба положенного времени. Его поспешили свести с эшафота, посадили в карету, и вопреки правилам, по которым арестованного везли шагом, жандармский офицер скомандовал: «Рысью!»

Лошади помчались. А люди бежали за каретой, кричали: «Прощай, Чернышевский!»

И в окна кареты летели новые цветы. Они остались лежать на мостовой, заливаемые весенним дождём, такие же свежие и прекрасные, как чувства, побудившие дать Чернышевскому вместе с последним «Прости!» обещание никогда не забывать его заветов.

В этот день преподаватель технологического института А. Н. Моригеровский вместе со своей женой бе-

режно вёл под руки едва ступавшую после бессонной ночи Ольгу Сократовну. С бесконечной любовью принял Моригеровский, находившийся под негласным надзором полиции, из рук жены Чернышевского дорогой подарок — медную дощечку от двери последней квартиры Чернышевских с надписью: «Николай Гаврилович Чернышевский»[1].

— Ольга Сократовна! Вы видели: никакого позора! Чествование получилось, — говорил он. — Сколько цветов!.. Вернётся Николай Гаврилович!

О ЧЁМ ПИСАЛ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ В ССЫЛКЕ

В Вилюйске, по собственному признанию Чернышевского, им было написано около четырнадцати романов.

Но всё это богатое литературное наследство великого революционного демократа не могло дойти до нас. Почти всё было уничтожено самим Николаем Гавриловичем. Он не хотел, чтобы его рукописи доставались полиции, которая часто устраивала у него обыски.

Как-то тусклым морозным утром в камеру Чернышевского вошла Евпраксия Корякина и застыла с горшком молока в руках: Николай Гаврилович стоял на коленях у топившейся печки и бросал в огонь один исписанный лист за другим.

— Что же это ты, Гаврильевич, ночью всё пишешь, а потом жжёшь? — спросила женщина, почуяв недоброе.

А он только посмотрел на неё, пошевелил губами, да так ничего и не сказал.

Такие сцены повторялись часто.

Свои рукописи Чернышевский не только сжигал, он уничтожал их другим способом: рвал на мелкие кусочки и пускал по реке Вилюю. В конце концов из огромного количества рукописей Чернышевского тех лет сохранилась только в отрывках повесть «Отблески сияния», которую увёз от него якутский прокурор.

Эта повесть начинается воспоминаниями о родном городе Саратове:

«В родной мой край да летит мой привет. Волга юга.

[1] Она хранилась у него много лет и сохранилась до нашего времени (Прим. автора — *Чернышевской Н. М.*).

Равнина, окаймлённая[1] амфитеатром. Многолюдный город над ней. Фруктовые сады... Дубовые леса... Туда к моему другу да летит мой привет».

Чернышевский часто и подробно писал своим детям.

Эти письма лишний раз свидетельствуют о том, какой огромной силой воли обладал Николай Гаврилович, как мужала в борьбе с лишениями его революционная мысль.

Когда Николай Гаврилович был арестован, старшему его сыну, Александру, было восемь лет, а младшему, Михаилу[2], около пяти. Позже они стали учиться в Петербургской гимназии. Находясь от них за тысячи вёрст, Николай Гаврилович в письмах своим детям учил их, как надо жить. Он разъяснял сыновьям вред науки, преподававшейся тогда в школах и университетах, потому что она была страшно далёкой от народа. Он призывал своих детей изучать тех писателей, которые учат любить жизнь и изменять её так, чтобы легче жилось трудящимся.

«Пушкин, Лермонтов, Гоголь, — писал Чернышевский, — гораздо важнее и в тысячу раз умнее, чем все школьные книги, всех на свете школ».

Великому революционному демократу хотелось, чтобы дети видели в нём не только отца, он стремился к тому, чтобы они поняли, за что ему приходится быть заживо схороненным среди вилюйских снегов.

Само собой разумеется, что Чернышевский, находясь в ссылке и зная, как следят за ним, не мог писать сыновьям открыто. Он писал намёками и недоговоренными фразами.

«Никто не может думать о миллионах, десятках, сотнях миллионов людей так хорошо, как следовало бы. И вы не в силах, — писал Чернышевский 1 марта 1878 года, — но всё-таки часть разумных мыслей, внушённых вам любовью к вашему отцу, неизбежно расширяется и на множество, множество других людей.

[1] окаймлённый — ieskauts

[2] Михаил Николаевич Чернышевский — отец автора «Повести о Чернышевском» Н. М. Чернышевской. В 1918 году он передал в дар Советскому правительству дом, в котором родился Н. Г. Чернышевский, рукописи, портреты, личные вещи отца. Был первым заведующим Домом-музеем Н. Г. Чернышевского.

Любя кого-нибудь честным чувством, мы больше, нежели бы без того, любим и всех людей».

В переводе на простой и прямой язык беседы отца с детьми это значит: если вы любите отца, жизнь которого отдана борьбе за счастье трудящихся, продолжайте его дело.

Старший сын Николая Гавриловича Чернышевского, Александр, интересовался математикой, а младший, Михаил — историей.

Узнав об этом, Чернышевский писал одному длинные математические письма, решал вместе с ним трудные задачи по тригонометрии, а другому разъяснял, что народ — творец истории, а не цари и полководцы.

Вместе с тем Николай Гаврилович убеждал сыновей бояться застоя, всегда идти вперёд и неустанно пополнять свои знания. «Трудись и трудись!» — писал он сыну Александру.

Вся переписка Чернышевского с сыновьями в невероятно тяжёлых условиях вилюйской неволи была продолжением той педагогической деятельности, которую он проводил ещё в Саратовской гимназии. Если тогда он беседовал с учениками о «фигурах умолчания», то есть беседовал на запрещённые темы — о революции, о крепостном праве, о дореформенном суде, то теперь он боролся опять-таки за воспитание полезных граждан своего отечества, имея в виду, что письма, адресованные детям, получат и более широкое распространение. Эта мысль укрепляла дух Чернышевского и вдохновляла его. Он неутомимо боролся против тех мыслителей и учёных, которые, будучи верными приспе́шниками[1] царизма, служили хищническим интересам помещиков и капиталистов. Этих учёных Чернышевский называл «попугаями», «шарлатанами» и «изменниками научной истине».

Однако царские власти обратили внимание на «крамольное» содержание переписки. Поэтому наиболее важные письма Чернышевского не дошли до его семьи. Они были задержаны и пролежали в архиве Петропавловской крепости до самой Великой Октябрьской социалистической революции.

[1] приспе́шник (*книжн.*) — сообщник, помощник в каких-нибудь плохих действиях

Якутский губернатор Черняев прислал в Вилюйск предписание о том, что Чернышевскому запрещается касаться в письмах «посторонних предметов», а разрешается извещать семью только самыми краткими письмами о состоянии своего здоровья.

Когда Чернышевскому показали эту бумагу, он написал на ней, что ни разрешать, ни запрещать ему писать губернатор не имеет права. Нечего и говорить о том, в какую ярость привели эти строки губернатора!

В 1877 году Чернышевский узнал из русских журналов, что тяжело болен его друг и любимый поэт, «певец народного горя» Николай Алексеевич Некрасов. Это взволновало Николая Гавриловича, и он обратился к своему двоюродному брату А. Н. Пыпину с просьбой: «...если, когда ты получишь моё письмо, Некрасов будет ещё продолжать дышать, скажи ему, что я горячо люблю его как человека, что я благодарю его за доброе расположение ко мне, что я целую его, что я убеждён: его слава будет бессмертна, что вечна любовь России к нему, гениальнейшему и благороднейшему из всех русских поэтов».

Этот прощальный привет был передан Некрасову. Больной поэт еле слышным шёпотом ответил: «Скажите Николаю Гавриловичу, что я очень благодарил его, я теперь утешен; его слова дороже мне, чем чьи-либо слова».

В Вилюйск Николаю Гавриловичу был послан сборник Некрасова «Последние песни», где было напечатано стихотворение, посвящённое Чернышевскому. В этом стихотворении жизнь Чернышевского расценивалась как высокий подвиг самоотвержения.

Не говори: «забыл он осторожность,
Он будет сам судьбы своей виной».
Не хуже нас он видит невозможность
Служить добру, не жертвуя собой.
Но любит он возвышенней и шире... —

писал Некрасов.

Ещё в студенческом дневнике Николай Гаврилович признавался самому себя: «Я нисколько не подорожу жизнью для торжества своих убеждений, для торжества свободы, равенства, братства и довольства, уничтожения нищеты и порока... и сладко будет умирать, а не горько».

Некрасов понял это и оценил в Чернышевском:

«Жить для себя возможно только в мире,
Но умереть возможно для других», —
Так мыслит он, — и смерть ему любезна...
Не скажет он, что жизнь ему нужна,
Не скажет он, что гибель бесполезна...
Его судьба давно ему ясна.

Все годы ссылки, всю жизнь Чернышевский думал не о себе, а о своей Родине. «Мы настолько сильны, что ни с запада, ни с юга или востока не может нахлынуть на Россию орда, которая подавила бы нас... Нам впереди на много столетий обеспечена счастливая доля делаться самим и устраивать свою жизнь всё получше и получше», — писал он жене в 1877 году. Будет другая, лучшая жизнь у сильного русского народа, эта жизнь настанет после торжества революции — об этом мечтал Чернышевский.

ПОПЫТКИ ОСВОБОЖДЕНИЯ

Друзья не могли примириться с заточением Чернышевского и неоднократно пытались освободить его из когтей царизма.

Одна из таких героических попыток была совершена русским политическим эмигрантом Германом Александровичем Лопатиным.

Лопатин жил в то время в Лондоне и посещал К. Маркса. Не раз они беседовали о Чернышевском. Маркс с глубоким уважением отзывался о Николае Гавриловиче как о выдающемся учёном и не мог простить русскому правительству ссылки Чернышевского. Он расценивал её как большую потерю для учёного мира не только России, но и всей Европы. Беседы с Марксом породили в Лопатине страстное стремление спасти Чернышевского, увезти его из Сибири за границу, где смогла бы произойти встреча двух великих мыслителей.

И вот, запасшись небольшими средствами, Лопатин совершает чрезвычайно трудное путешествие — из Лондона в Иркутск! Два раза его задерживают, подвергают

аресту и заключают в острóг[1]. Но Лопатин убегает и снова пробирается к Вилюйску. Царское правительство поставило на ноги всю сибирскую полицию. По всем смежным дорогам и сёлам среди полиции распространяются фотокарточки Лопатина. Во всех направлениях, как собаки, рыщут сыщики.

Попытка увезти Чернышевского не удаётся, и Лопатину приходится спасаться от нового ареста. Он переодевается крестьянином и бежит в Петербург, а оттуда за границу.

Но бежит он не с пустыми руками: ему удалось достать рукопись романа Чернышевского «Пролог». Он привёз её в Лондон, и там она была напечатана при поддержке К. Маркса.

Вскоре попытку освободить Чернышевского предпринял другой революционер — И. Н. Мышкин.

Он явился в Вилюйск переодетым в форму жандармского офицера и предъявил исправнику бумагу от иркутского жандармского управления. В ней предлагалось выдать на руки поручику Мещеринову (так назвал себя Мышкин) «государственного преступника» Николая Чернышевского для препровождения его в Благовещенск.

Однако не всё было предусмотрено Мышкиным. Он не знал, что незадолго до его приезда были даны самые строгие указания о недопущении к Чернышевскому посторонних лиц без предварительного письма якутского губернатора, а такое письмо у него как раз и не было подготовлено.

Приезд Мышкина вызвал подозрение у стражи, караулившей Чернышевского. Во-первых, его появлению не предшествовали никакие секретные предписания. Наоборот, из Петербурга всё время шли напоминания об усилении надзора за Чернышевским. Удивило исправника и то, что жандармский офицер явился не как официальное лицо с полагавшимся ему конвоем из урядников и казаков, а совершенно один. Наконец, присмотревшись к мундиру «поручика корпуса жандармов», вилюйские власти заметили, что аксельбант надет у него на левое плечо вместо правого...

Все это послужило причиной длительных расспросов. Мышкина не допустили к Чернышевскому.

[1] острóг (*уст.*) — тюрьма

Мышкин увидел, что он разгадан, и выразил желание сейчас же ехать опять в Иркутск якобы за новыми документами. С ним поехали казаки. По дороге он открыл стрельбу и, воспользовавшись замешательством, скрылся в тайге.

На розыски Мышкина были созваны якуты. Зачем приехал Мышкин, они не подозревали. Исправник обманом выпытал у них нужные сведения.

— Если человек не захочет утонуть в болоте, — рассуждали якуты, — то он непременно выберется на единственную сухую тропинку, которая ведёт к проезжей дороге.

У стыка тропинки с дорогой и велено было устроить засаду.

Двенадцать часов скрывался Мышкин в непроходимой таёжной глуши, без пищи, без компаса, без оружия. Наконец он выбрался на тропинку, но попался в руки врагов.

После попытки Мышкина Чернышевский был лишён права выхода за ворота тюрьмы в течении полугода. Узнав много позднее о подвиге Мышкина и его поимке, Николай Гаврилович сильно горевал о нём.

Как ни неудачна была попытка Мышкина, однако много страху нагнала она на вилюйские власти. Уж одно то, что Мышкин стрелял в казаков, показывает, как растерялся вилюйский исправник, забыв перед отъездом обыскать его как «подозрительное лицо» и отобрать у него оружие. Опасаясь и в дальнейшем таких «покушений на освобождение Чернышевского», исправник совсем потерял сон в страхе за свою собственную шкуру. Когда для усиления ночного караула при остроге из Якутска было прислано шесть вооружённых солдат во главе с ефрейтором, исправник в панике строчил донесение о том, что нужно их не шесть, а семьдесят!

Из рассказов якутов и должностных лиц полицейские власти узнали, что Мышкину были известны «подробности не только сухопутных, но и водных сообщений». Поэтому был снаряжён «поход по городу за наблюдением движения по реке».

Попытки освобождения, закончившиеся неудачей, отразились на положении Чернышевского. После ареста Лопатина в Вилюйск явился жандармский полковник Купенков. Нагло обыскав Чернышевского до ниточки, он приказал вскрыть полы, сам лазил на чердак, разы-

скивая «злоумышленников». Ему удалось увезти от Чернышевского только несколько листков рукописей.

Чернышевский в разговоре с ним держался с большим достоинством. Он указал на незаконность поселения его в остроге по истечению срока каторги. Он дал понять жандарму, что, как бы ни старались власти убивать его медленной смертью, это только будет способствовать торжеству его идей в будущем. «Согласитесь, — сказал Чернышевский, — что вы никогда не забудете фамилии Пушкина, Гоголя и Лермонтова. Так современная молодёжь будет помнить мою фамилию, хотя я этого не ищу́»[1].

История подтвердила слова Чернышевского.

[1] иска́ть — здесь: добиваться, надеяться

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ

АЛЕКСАНДР ТАЛАНОВ

ВЛАСТИТЕЛЬ ДУМ

(Главы из повести)

ПЕРВЫЕ ЛАВРЫ

В просторной гостиной Панаева кроме хозяев дома собрались только «свои»: Белинский, Боткин и ещё кое-кто из литераторов.

Свечи в гостиной едва рассеивают полумрак. Опершись на высокую спинку кресла, стоит Некрасов. Вид у него болезненный, выглядит он старше своего возраста. Манеры его неловкие, он горбится, зачем-то прижимает локти к бокам, то и дело подносит пальцы к пробивающимся усам, но, не касаясь их, опускает руку. Жест этот, очевидно, от смущения.

— Я прочту стихотворение «Родина», — говорит он слабым голосом.

И вот они опять, знакомые места,
Где жизнь отцов моих, бесплодна и пуста,
Текла среди пиров, бессмысленного чванства,
Разврата грязного и мелкого тиранства...

Сидящие в гостиной внимательно слушают поэта. Судя по лицам, стихи нравятся, и даже жест Некрасова — часто касаться усов рукой — не кажется смешным. Только скептически настроенный Боткин своим подчёркнуто невозмути́мым[1] видом выражает: «Меня́ не прошибёшь!»[2]

[1] невозмути́мый — nesatricināmi mierīgs

[2] «Меня не прошибёшь!» — mani ap stūri neapvedīsi

...вижу я, что срублен тёмный бор —
В томящий летний зной защита и прохлада, —
И нива выжжена, и праздно дремлет стадо,
Понурив голову над высохшим ручьём,
И набок валится пустой и мрачный дом,
Где вторил звону чаш и гласу ликований
Глухой и вечный гул подавленных страданий...

Поэт умолк. В гостиной тишина. Только потрескивают мерцающие свечи. Все обернулись к Белинскому: мнение его здесь царит.

Однако Боткин нарушает обычный порядок. Он считает себя тонким ценителем изя́щных иску́сств[1] и уверен в своей непогрешимости.

— Скажу откровенно, стихотворение Николая Алексеевича меня огорчило прежде всего избранной темой. Разве это предмет для высокого искусства — «гул подавленных страданий» рабов, завидующих последним барским псам? Нет, господа, искусство ждёт иного от истинной возвышенной поэзии!

— Неверно! — Белинский привстал с кресла, большие глаза его заблистали и словно ещё увеличились. — Неужели здоров будет организм ребёнка, коли питать его одними сладостями? Наше общество находится ещё в детском состоянии, и если литература будет скрывать от него всю грубость, невежество и мрак, которые нас окружают, то нечего ждать прогресса!

Вспыхнул спор, Боткин настаивал на своём, доказывал тщету́[2] поэзии, пытающейся черпать темы из «низменной» жизни. Распаляясь всё сильнее, он упрекал Некрасова в кощу́нственном[3] отношении к чистому искусству.

— У Некрасова не только талант, — возразил Белинский, — но и знание русского народа, — непониманием которого мы все отличаемся... Я убеждён, его значение в литературе будет всё более возрастать. А возьмите его критические рецензии! В нашем журнале он разобрал одно булгаринское изделие с такой злостью и с таким мастерством, что читать наслаждение.

Виновник спора сидел молча. Похвалы Белинского,

[1] изя́щные иску́сства (*уст.*) — daiļās mākslas
[2] тщета́ (*уст.*) — veltīgums; niecīgums
[3] кощу́нственный — zaimojošs

непрекàемого[1] авторитета для всех, были ему заметно приятны. Однако, чтобы прекратить горячие словопрéния[2], он обратился с растерянной улыбкой:

— Право, моя особа недостойна столь лестного внимания. Не лучше ли, господа, перекинуться нам в картишки?

Хозяин дома раздвинул ломберный — карточный — столик. На зелёном сукне появились выписанные мелом столбики цифр.

По прошествии времени он так вспоминал свои первые шаги в литературной среде: «Тяжёлое впечатление производили на меня все эти люди: преобладала часто фраза, диалектика, говорились общие места, говорили больше о Западной Европе, видно было незнание русской жизни и русского народа. Я сознавал, что всё это было не то, что нам нужно, но в то же время спорить с ними не мог, потому что они знали гораздо больше меня, читали. Сознавая всё больше и больше, что нам нужно нечто иное, я начал работать, учиться...»

Признание шло медленно, с трудом. А пока Некрасову приходилось довольствоваться ролью критика в «Литературной газете» и в «Отечественных записках». Но уже поговаривали о его намерении издавать свой журнал.

Критик он был действительно чуткий. Принадлежит ему и честь «открытия» писателя-гения.

Случилось это майским днем 1845 года, ставшим достопàмятным[3] в истории отечественной литературы. К двери квартиры Некрасова робко подошёл странного вида молодой человек.

Редкая бородка подчёркивала бледность его удлинённого лица. На окружающее он глядел устало, почти равнодушно, но глаза его горели сильным внутренним огнём. Одежда на нём была не то что бедная, а, скорее, небрежная, так как владелец её, очевидно, нисколько не заботился о своей внешности.

Он неуверенно стукнул молоточком, привязанным к ручке двери.

[1] непрекáемый — бесспорный

[2] словопрéния (*уст.*) — спор

[3] достопáмятный (*уст.*) — незабываемый

Владелец квартиры сам открыл дверь, бросил недоумева́ющий[1] взгляд на пришельца, спросил:

— Что вам угодно?

Ответа не последовало. Некрасов нетерпеливо повторил вопрос, добавив:

— Мне некогда!

Молодой человек растерянно переступил с ноги на ногу и, вероятно догадавшись, что его принимают за просителя, ко́их множество бродит по столице, ответил, запинаясь:

— От Григоровича я... вашего знакомого... Советовал мне просить вас прочесть... вот рукопись. Моя...

— Ну что ж, оставьте. Григорович-то сам читал её?

— Не удосу́жился...[2] Я ведь писатель начинающий, это моя первая вещь.

— А мне бог велел читать всё, что приносят, — так, значит?

— Ежели затрудняю, извините! — Проситель отвёл руку, державшую свёрнутую трубкою рукопись.

— Нет-нет, давайте! — Что-то необычное, странное было в глазах и во всём облике неведомого автора, и Некрасов, пожалев о своей резкости, пообещал: — Прочту вскорости, не задержу.

— Благодарю.

Они расстались, чтобы встретиться негаданно быстро — уже в ближайшую ночь на рассвете — и с тех пор стать друзьями.

Пока же Некрасов бросил рукопись на стол в своём кабинете и занялся писанием неотложной статьи для «Литературной газеты». А Достоевский — это был он — отправился куда глаза глядят.

Душа его терзалась. Повесть «Бедные люди» писал он страстно, почти со слезами. Но временами ему казалось: «Неужто всё это, все эти минуты, которые я переживаю с пером в руке над этой повестью, — всё это ложь, мираж, неверное чувство?»

Мни́тельность[3] и неуверенность в себе лишали его покоя, перо валилось из рук, хотелось порвать написанное. Однако тут же что-то вновь заставляло писать не отрываясь.

[1] недоумева́ющий — сомневающийся

[2] не удосу́житься — neatrast laiku

[3] мни́тельность — aizdomīgums, neuzticība

Так тянулась и минула зима, наступила весна, и начались сказочные петербургские белые ночи. Есть в них какая-то колдовская сила, заставляющая мечтать и поступать по-особенному.

Не потому ли начинающий писатель рискнул отдать своё первое произведение на суд критика Некрасова, взыска́тельность[1] которого ценил сам Виссарион Белинский.

Бревенчатый, пахнущий смолой и сыростью канал Фонтанки, скрытый за туманной дымкой Дворцовый мост, сфинксы, невесть откуда попавшие на величавую набережную Невы, тихие, неторопливые воды канала возле старых Петровских ве́рфей[2] — Новой Голландии, — ни в каком другом городе мира, кроме Петербурга, нет таких обширных площадей, а рядом неожиданно узких и запутанных закоу́лков[3].

Автор «Бедных людей» бродил по городу бесцельно, как праздный гуля́ка[4] с одной всепоглощающей мыслью: «Какой приговор придётся услышать?»

К вечеру он случайно оказался у приятеля и допоздна вслух читал с ним — в который раз! — «Мёртвые души». Так повелось тогда у молодёжи. Сойдутся двое или трое и решают: «А не почитать ли нам, господа, Гоголя?» Усядутся и читают вместе.

Некрасов же коротал этот вечер с литератором Григоровичем. Среди разговора, вспомнив об утреннем визитёре, он спросил:

— Что знаешь о его повести?

— Ничего! — признался Григорович. — Но сам он человек необычайный.

— Чем?

— Признаться, и этого не могу объяснить, однако чувствую в нём какую-то огромную внутреннюю силу.

— Давай на пробу прочитаем его рукопись. Страниц десяти достаточно будет, чтобы заметить, талантлив ли автор.

— Согласен!

Прочли десять страниц.

— Читай дальше! — сказал Некрасов.

[1] взыска́тельность — требовательность, строгость

[2] верфь — kuģu būvētava

[3] закоу́лок — šeit: šķērsieliņa, ieliņa

[4] пра́здный гуля́ка (*разг.*) — dīkdienis

Ещё десять страниц прочли.

Чередуясь, когда один уставал, они читали вслух всю ночь до рассвета.

Голос Некрасова дрогнул, когда он читал о том, как умер студент и как отец побежал за гробом сына. В сильнейшем волнении Некрасов стукнул ладонью по рукописи, воскликнул:

— Ах, чтоб его!

Большая повесть была прочитана сразу, что называется в один присест.

— Пойдём к Достоевскому! Сейчас, немедленно! — предложил Григорович.

— Неудобно, спит человек... — колебался Некрасов.

— Ничего, что спит, мы разбудим его, это выше сна!

— Правда, хорошего дела никогда не надо откладывать. Пойдём! — согласился Некрасов.

Такое решение было вовсе не в его натуре. Обычно замкнутый, сдержанный, Некрасов не был склонен к внезапным, из ряда вон выходящим поступкам.

Они отправились к автору. А тот только что заснул, вернувшись от приятеля, с которым перечитывал «Мёртвые души». Нетрудно представить его состояние, когда вдруг он услышал возбуждённые голоса над своим ухом:

— Вставайте! Поздравляем!.. Чудо, что вы написали!.. Замечательно!

Дальнейшее тоже состояло из одних восторженных восклицаний, несвязных, торопливых слов, притом автора трясли за руки, обнимали...

За короткое время бурного свидания они успели многое высказать о правде искусства, вспомнить любимого всеми Гоголя и, конечно, заговорить о Белинском.

— Сегодня же отнесу ему вашу повесть! — решительно заявил Некрасов.

— Не надо, боюсь... — растерялся Достоевский.

— Познакомитесь с ним, увидите, какой он замечательный, человек-то какой! Что за душа!

Восторженность не оставляла Некрасова, он тряс обеими руками плечи Достоевского.

— Ну, теперь спите, спите, мы уходим, а днём пожалуйте ко мне.

Но разве возможно уснуть после такой необъятной радости, такого успеха! И было особенно тепло оттого,

что явились люди в счастливом порыве сообщить драгоценную весть, которая «выше сна».

Как и обещал, Некрасов в тот же день отнёс рукопись Белинскому. Он благоговéл[1] перед ним и любил его, как никого в жизни.

— Новый Гоголь явился! — закричал Некрасов с порога, потрясая повестью «Бедные люди».

— У вас Гоголи как грибы растут... — заметил Белинский. Однако рукопись взял и даже пообещал прочесть её без задержки.

И когда к вечеру Некрасов опять зашёл к нему, великий критик, не дожидаясь вопроса, воскликнул:

— Приведите, приведите его скорее!

Горячо любя и целиком отдавая себя литературе, Некрасов умел извлекать из неё и личную пользу. Видно, жестокие уроки, преподанные ему жизнью в юные годы, научили быть практичным. Он начал издавать книги, приносящие хороший доход. Так, он выпускает «Петербургский сборник», в котором участвуют Белинский, Достоевский, Герцен, Майков и другие лучшие писатели, поэты и публицисты. Сборник быстро разошёлся, составитель его получил изрядную прибыль.

Пришло время, когда стало возможным думать о своём журнале. Но осуществить это было не просто. Правительство Николая Первого, видя в печати источник крамолы, запретило создание новых газет и журналов. Поэтому оставалось только одно — найти подходящий журнал и купить право издания.

Некрасов и Панаев засиживались допоздна, обсуждая возможности приобретения своего печатного органа. Перебирали названия то одного, то другого, но все оказывались неподходящими. Вдруг однажды, уже на рассвете, Панаев воскликнул:

— Нашёл!

— Что?

— «Современник»!

— В самом деле, чего лучше! Как это сразу не пришло в голову? И название вполне соответствует нашим замыслам.

Вскоре в столице и в провинциальных российских городах появились огромные рекламные листы, на кото-

[1] благоговéть (*высок.*) — dziļi cienīt; godāt

рых арши́нными бу́квами[1] сообщалось о выходе нового «Современника». Имя Некрасова стояло в числе основных редакторов.

Расходы на рекламу были невиданные. Панаев даже выразил Белинскому сомнение:

— Как бы эта затея Некрасова нас не разорила.

— Нам с вами нечего учить Некрасова, — возразил Белинский. — Ну что мы смыслим, ведь мы младенцы в коммерческих расчётах. Разве мы с вами сумели бы устроить такой кредит в типографии и с бумажным фабрикантом, как он? Нам на рубль не дали бы кредиту, а он устроил так, что на тысячи может кредитоваться. Нам уж в хозяйственную часть нечего и соваться.

Редактор Некрасов ввёл и другое новшество: за писательский труд в «Современнике» стали платить гораздо больше, чем в прочих журналах.

Кое-кто говорил:

— Ведь это сумасшествие платить такие баснословные гонорары!

— Нисколько! — посмеивался Некрасов. — Это позволит нам привлечь лучшие литературные силы, что, в свою очередь, поднимет подписку. А если журнал пойдёт хорошо, то мы ещё прибавим гонорар: стыдно усчи́тывать[2] сотрудников. Пора, чтобы в России стало возможным существовать на литературный заработок.

Расчёты Некрасова вполне оправдались. Новый «Современник» сразу завоевал небывалый успех. По случаю выхода первого номера в редакции был затеян торжественный обед; и с тех пор повелось такие общие обеды устраивать каждый месяц по выходе очередной книжки журнала.

Росла, ширилась слава Некрасова-редактора, Некрасова-издателя и слава поэта Некрасова.

ПОЭТ, ЦАРЬ И НАРОД

В просторном кабинете Некрасова нарядные светлые обои, шёлковые занавески, большой письменный стол на резных ножках, на нём бронзовая чернильница, мраморная подставка для перьев, песочница в виде вазы,

[1] арши́нные бу́квы (*перен.*) — milzu burti

[2] усчи́тывать (*уст. разг.*) — krāpt

пресс, изображающий лежащую собаку. Перед столом кресло, обитое зелёным сафьяном. На полу ковёр из тигровой шкуры.

Стенные часы звонко отсчитали одиннадцать раз. Солнце тускло глядит в окно. Хмурое северное утро скорее напоминает предвечерние сумерки.

Он подошёл к столу, принялся что-то искать. Здесь царил хаос. Книги, журналы, газеты, рукописи, корректурные листы валялись грудами и были брошены даже на подоконники.

Хозяин кабинета с удивительной лёгкостью разбирался в этом беспорядочном нагромождении и обычно сразу находил то, что искал. Но на этот раз обнаружить нужное ему не удавалось.

— Пётр, опять ты хозяйничал на столе! Куда девалось письмо, которое я вчера тут положил? — обратился Некрасов к слуге.

— Право слово, барин, я только пыль стёр, — растерянно моргая глазами, отвечал Пётр.

— Не смей и пыли стирать! После твоей уборки я никогда ничего не нахожу.

— Ну вот-с, значит, пусть всё покрывается пылью? Так не годится... И напрасно тревожитесь, барин, письмо ваше вот-с, под чернильницей.

— Ладно! Сознаюсь, зря ворчу, сам вчера второпях его там положил.

Раздражался Некрасов легко, зато и быстро остывал, особенно если чувствовал свою неправоту.

Злополу́чное[1] письмо было от министра просвещения графа Уварова, извещавшего издателей «Современника», что «правительство имеет за ними особенное наблюдение, и если впредь замечено будет в о́ных[2] что-либо предосудительное или двусмысленное, то они лично подвергнуты будут не только запрещению продолжать свой журнал, но и строгому взыска́нию»[3].

Некрасов прочёл бумагу министра, нахмурился. Его, как редактора, уже вызывали в Третье отделение, «вразумля́ли»[4], грозя всяческими карами.

Ещё ранее вызывал к себе и председатель негласного

[1] злополу́чный — nelaimīgs, kļūmīgs

[2] о́ный (*уст.*) — тот, тот самый, вышеупомянутый

[3] взыска́ние — sods

[4] вразумля́ть — vest pie prāta

комитета по делам печати князь Меншиков и от имени самого царя, Николая Первого, сделал строжайшее предупреждение:

— Ваш долг не только отклонять все статьи предосудительного[1] направления, но содействовать своим журналом правительству в охранении публики от заражения идеями, вредными нравственности и общественному порядку.

Князь Меншиков произнёс эти слова единым духом, не отрывая многозначительного взгляда от крамольного редактора. Некрасов знал, отчего он заслужил такую немилость свыше. Друзья уже сообщили ему, что агент Третьего отделения, низкопробный[2] писатель Булгарин, в своё время принимавший участие в травле самого Пушкина, написал донос и на него, Некрасова. Булгарин доносил, будто редактор «Современника» выступает «с возмутительными предсказаниями насчёт будущего России».

Литературный уровень «Современника» определяли «Детство» и «Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого, отрывки из «Фрегата «Паллады» И. А. Гончарова, «Муму», «Записки охотника», «Рудин» И. С. Тургенева и другие замечательные произведения.

В журнале печатались и стихотворения самого Некрасова.

Поэтическое творчество его год от года крепло, обретая всё большую политическую остроту. Стихи поэта, изданные отдельной книгой, имели огромный успех.

Иван Сергеевич Тургенев так отозвался о растущей славе Некрасов: «Что ни толкуй[3] его противники, а популярнее его нет теперь у нас писателей, и поделом». И как о величайшей сенсации Тургенев из Парижа сообщил Герцену, жившему в Лондоне: «Из России я имею известие о громадном и неслыханном успехе стихотворений Некрасова. 1400 экземпляров разлетелись в две недели. Этого не бывало со времён Пушкина».

В лавках, где продавалась книга поэта, действительно творилось нечто дотоле небывалое. Слух о том, что второе издание запрещено, ещё более подогрел спрос.

[1] предосуди́тельный — nosodāms; peļams

[2] низкопро́бный (*перен.*) — низкий по качеству или в моральном отношении

[3] толкова́ть — šeit: runāt, pārrunāt

Книгу брали нарасхват. Цена на неё с полутора рублей подскочила до шести в столице, в провинции ещё выше — до восемнадцати рублей!

Чернышевский писал, что стихотворения Некрасова вызывают «восторг всеобщий. Едва ли первые поэмы Пушкина, едва ли «Ревизор» или «Мёртвые души» имели такой успех».

Это отнюдь[1] не являлось преувеличением. Со времён Пушкина не было примера, чтобы книжка поэта с такой быстротой исчезала с прилавков.

Беспримерный был и переполох в правительственных кругах. Председатель цензурного комитета известил министра просвещения о «предосудительном направлении мыслей» Некрасова. Цензор, допустивший выход в свет его книги, получил строжайший выговор и был отстранён от должности.

Мало того, попечителю[2] Московского учебного округа было указано принять решительные меры, чтобы в периодических изданиях «не было печатаемо ни статей, касающихся этой книги, ни, в особенности, выписок из оной». Со своей стороны министерство внутренних дел секретным циркуляром[3] предписало департаменту полиции строго следить, чтобы «Стихотворения Некрасова ни в коем случае не переиздавались».

«Запретить», «следить», «наблюдать», «предписать», «указать», «пресечь» и прочие слова из полицейско-жандармского лексикона замелькали в различных правительственных циркулярах и приказах секретных, полусекретных, вызванных книгой Некрасова.

Поэт тяжело переживал это мрачное время. Днями он не выходил из дома, никого не принимал у себя, хандрил. Перо валилось у него из рук. Тяжёлое настроение не находило исхода[4].

— Почему не видно ваших новых стихов в «Современнике»? — спросил один из друзей.

Поэт ответил:

— У меня нет желания писать стихи, только чтобы прочесть их двум-трём лицам и затем спрятать в ящик

[1] отнюдь — нисколько
[2] попечитель — aizbildnis
[3] циркуляр — apkārtraksts
[4] исход (*уст.*) — выход

стола... Да и такая пустота в голове: никаких мыслей нет, чтобы писать.

Но случилось так, что как раз в это время он написал одно из лучших своих стихотворений, которое ещё задолго до того как появилось в печати стали читать на литературных вечерах и, уж конечно, на студенческих сборищах.

Осенние свинцовые тучи плывут низко и медленно. Плотные нити дождя соединяют небо и землю. Стёкла окон заволоклись водяным слоем.

Некрасов с утра бродит по кабинету в халате: несколько шагов от письменного стола к окну и обратно. Не пишется. Хандра одолевает всё более.

Мягкий ковёр делает шаги неслышными, только дождь упорно барабанит в стекло. Некрасов рассеянно останавливается у окна, но что-то вдруг приковывает его взгляд.

Сквозь дождевую завесу происходящее на улице кажется тяжким сновидением.

Напротив квартиры Некрасова дом, где живёт министр государственных имуществ — важный вельможа. Возле его дома обычно толкутся просители: крестьяне-ходоки, пришедшие в столицу искать правду, изгнанные с должности мелкие чиновники или юркие хода́таи[1] по чужим делам.

Только горькая нужда может заставить так терпеливо стоять под дождём. Обтрёпанные, в лаптях крестьяне ожидают у парадного подъезда выхода вельможи. Карета ему уже подана. Толстый кучер в шляпе с цветастыми павлиньими перьями с трудом сдерживает сытых, застоявшихся лошадей.

Вельможа вот-вот появится. Надо повалиться в ноги и успеть сунуть ему слезни́цу-проше́ние[2]. Седобородые старики робко жмутся друг к другу. Видно, явились они спозаранку, промокли, продрогли. Железный навес над подъездом едва укрывает их от потоков дождя.

Однако приходится покинуть и эту защиту. Швейцар и дворник с метлой гонят прочь. Ходоки покорно подымаются со ступенек крыльца, собирают кото́мки[3].

Некрасов видит, как дворник толкает их метлой в

[1] хода́тай (*уст.*) — ведущий чьи-либо дела в судах

[2] слезни́ца-проше́ние (*уст.*) — žēlabains lūgums

[3] кото́мка (*уст.*) — kule (ko nes pār muguru)

спину, как они пытаются найти пристанище у выступа дома, но и отсюда их гонит появившийся из своей полосатой будки городовой, и как, наконец, они поплелись под проливным дождём, на ветру.

Лицо Некрасова искажается гневом, руки нервно теребят усы, губы что-то шепчут.

Наверно, поэт сам не заметил, как отошёл от окна, сел за письменный стол, взял в руки перо. И написал первые строки:

Вот парадный подъезд. По торжественным дням,
Одержимый холопским недугом,
Целый город с каким-то испугом
Подъезжает к заветным дверям...

Строка бежит за строкой... Вдохновение бывает добрым, но сейчас оно гневное, могучее.

Раз я видел, сюда мужики подошли,
Деревенские русские люди...

Некрасов пишет и пишет... Иногда зашагает по кабинету, бросит взгляд в окно — ходоки с котомками уже скрылись, но он будто ещё видит их, всё так же гонимых, — и снова садится за стол.

...Родная земля!
Назови мне такую обитель,
Я такого угла не видал,
Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский мужик не стонал?

Осенний сумрачный день словно озарился ярким лучом солнца. В этот день родилась поэма, пробуждавшая добрые чувства к извечно гонимому, горемы́чному[1] кормильцу — русскому мужику.

ЮХАН СМУУЛ

ВЕЧЕР С НЕКРАСОВЫМ

Посвящаю матери

Студентка учительского института Малл Саар зимой перенесла тяжёлую операцию. После больницы она

[1] горемы́чный (*разг.*) — несчастный

на месяц приехала домой, на остров, в колхоз «Маяк». Сначала её покачивало, как былинку[1], но потом её лицо начало понемногу розоветь. Двигаться ей было ещё трудно, и она выходила из дому только за книгами. Когда всё было перечитано, обратилась ко мне:

— Книг. Как можно больше.

Я предложил ей Гейне.

— Не могу. Человек я впечатлительный, легко начинаю смеяться или плакать. А смеяться больно, да и запрещено — рана может открыться.

Предложил «Избранные статьи» Герцена.

— Они у меня почти все от руки переписаны.

Ещё были у меня «Избранные стихотворения» Некрасова в переводе на эстонский язык. Дал их. Через два дня Малл зашла снова.

— Приходите к нам в воскресенье вечером.

— Хорошо.

— Устраиваю литературный вечер. Буду читать Некрасова.

— Кто придёт?

— Молодёжь, комсомольцы. Родня моя многочисленная соберётся. Председатель обещал прийти. Поверьте, народу будет много.

Я пошёл на этот импровизированный литературный вечер с каким-то холодным чувством на сердце. Стихи здесь любят, но в декламаторах ценят прежде всего простоту. Читая этим людям стихи, пафос следует унижать почти до нуля. Время от времени на остров приезжают концертные бригады театров из Государственной филармонии, но их чтецы, очевидно, считают, что все чувства — страсть, грусть, радость, страдание — можно выразить только одним: криком... Как будет читать Малл печальные, гневные стихи Некрасова?

До пожилых людей тут ещё не дошло слово «стихотворение». У них поэма — это «большая песня», баллада — «длинная песня», стихотворение — просто «песня». Текст песни — тоже «песня». Очень любят здесь Джамбу́ла[2]. Песни Исако́вского[3] знают наизусть.

[1] былинка — smildziņa

[2] Джамбу́л Джаба́ев (1846—1945) — казахский народный поэт.

[3] Исако́вский Михаил Васильевич (1900—1973) — русский советский поэт.

Ну и нас, эстонских поэтов, знают — иногда у нас получаются хорошие песни, иногда — просто песни.

Однако здесь я услышал и однословную, очень злую критику стихотворения, такую критику, от которой да убережёт нас милосердная судьба.

Брат председателя Рудди Аэр спросил меня вчера:

— Писателя Н. знаешь?

— Знаю.

— Вот его строчки в газете были напечатаны.

— Строчки? Песня, что ли?

— Нет, строчки, строчки! — упрямо повторил Рудди Аэр. И это, сказанное без оттенка пренебреже́ния[1], слово «строчки» заставило меня поёжиться.

Я был уверен, что Некрасова здесь примут хорошо. Но в какой мере, глубоко ли затронет он слушателей?..

Комната была большая. На длинных скамьях расположилась многочисленная родня Сааров, тут же сидели комсомольцы; в сторонке, как всегда, когда он не исполнял своих председательских обязанностей, уселся Яан Аэр.

Но об этом надо писать по-другому.

Наша муза пари́т[2] невысоко,
Но мы пишем не лёгкий сонет,
Наше дело исче́рпать[3] глубоко
Воспеваемый нами предмет.

Н. А. Некрасов.

КОМУ ХОЛОДНО, КОМУ ЖАРКО

Вечер. Сумрак успел сгуститься.
Угасает заря.
Впотьмах
стёрлись в комнате контуры, лица —
вся земля уже в чёрных тенях.
Полный влаги и свежести моря
воет ветер, силён и задо́рен[4].
Мощным гулом его заглушая,

[1] пренебреже́ние — nevērība; necieņa

[2] пари́ть — летать

[3] исче́рпать — izsmelt

[4] задо́рен = šeit; spirgts

величавая песня гремит:
не стихая,
не умолкая,
наше морюшко-море шумит...
Свечи вскинули зыбкое пламя,
разом стало светлее. Видней
проза жизни — плита с чугунами,
печь в углу.
От неярких углей
полосой красный отблеск ложится
и горит на морщинистых лицах
стариков, что уселись в тени.
Их состарили долгие годы,
но не только: ведь старят невзго́ды[1],
и морщины врезают они.
Подлость жизни старым известна,
нищета с ними об руку шла.
Но сквозь вьюги прошли они честно,
седина только снегом легла.
Друг мой, девушка!
Сколько прекрасного
каждый день твой сулит, каждый шаг.
При свечах ты читаешь Некрасова,
белокура, собой хороша.
Ты подпёрлась рукой поудобнее,
косы вольно легли на груди.
Разве знала ты муки подобные?
Что же душу твою бередит[2]?
Чистой, светлой, прямою дорогою
словно вольная птица летишь.
Страсти мелкие, думы убо́гие[3]
не коснутся тебя на пути.
Никогда на «судьбу» не пеня́ешь[4],
как и все молодые у нас,
но когда вместе с Дарьей страдаешь —
сами просятся слёзы из глаз.
Словно казнью чужою казнимая,
ты скорби́шь[5] над печальной судьбой,

[1] невзго́ды — nedienas
[2] бередить — satraukt
[3] убо́гий — бедный
[4] пеня́ть — vainot (kādu), pārmest (kādam ko)
[5] скорбе́ть (*высок.*) — skumt, sērot

незнакомой тебе, не сравнимою, —
так
не может случиться с тобой!
Дорогая, читай!
Через годы
проведи нас по жизни сегодня,
чтобы му́кой народной растроганный
тот, чьей болью так больно тебе,
со своею «Железной дорогою»
побыл в этой рыбачьей избе.
Голос твой зазвенел негоду́юще[1].
Ты читаешь — и песне вослед
к нам вошёл
и глядит испыту́юще[2]
гнева и слёз поэт.

Мы надрывались под зноем, под холодом,
С вечно согнутой спиной,
Жили в землянках, боролися с голодом,
Мёрзли и мокли, болели цингой.
Грабили нас грамотеи-десятники,
Секло начальство, давила нужда...
Всё претерпели мы, божии ратники,
Мирные дети труда!
Братья! Вы наши плоды пожинаете,
Нам же в земле истлевать суждено...

Н. А. Некрасов Железная дорога

Тишь — ты полёт услыхал бы мушиный
в людной, притихшей избе.
В крепком, ох, крепком раздумье мужчины.
Думы у них — о себе.
Бабы — не то, доживали здесь многие
до гробовой доски,
даже не видев железной дороги.
Им не четá[3] мужики.
Им довелось по земле поскитáться[4] —
горе хлебáли[5], ломая плитня́к[6],
строили в сёлах хорóмы[7] кулацкие,

[1] негоду́юще — ar sašutumu
[2] испыту́юще — pētoši
[3] не четá (*разг.*) — netiek līdzi (kādam), nevar līdzināties
[4] скитáться — klaiņot
[5] хлебну́ть гóря — piedzīvot bēdas
[6] плитня́к — kaļķakmens vai smilšakmens slāneklis
[7] хорóмы — grezns (lepns) nams

да ведь на совесть,
не кое-как!
Руки — что клéщи[1], привычны к работе —
гнись на чужих, пока гнётся спина.
Старились, роя канавы в болоте.
Вкалывали от темна до темна.
Сердце сжимается.
Все растревожены
горьким и гневным стихом.
Пишет поэт, как дорога проложена,
но ведь не только о том!
Где она грань между правдой и вымыслом?
Слыша жестокий рассказ,
шепчет соседу сосед:
— Эк, что вынесли!
Слышишь — товарищ-то пишет — про нас!
— Тише! —
Умолкли. И каждую голову
та же догадка сверлит:
вы это «мокли», «боролися с голодом»,
песня о нас говорит!
Двери в былое распахнуты словом,
в давние дни эти строфы ведут.
Видят мужчины сквозь дымку былого
свой непосильный, свой каторжный труд.
...Славная дамба в Кривом проливе,
слева и справа синеет вода.
Мчатся машины. Нет места красивей,
тут молодёжь гуляет всегда.
Дамба — стрела, поворота не сыщешь.
Вдоль — три версты, метров шесть ширина.
Камня тут — сáжень[2] кубических тыщи,
сверху гранит —
и до самого дна.
Дамбищу вздыбить[3] — аж в небо воткнётся,
камни в рядок — всей земле поясок.
Труд работяг кто измерить возьмётся?
Взвесить их труд нет на свете весов.
Выбирались они из домишек убогих

[1] клéщи — knaibles
[2] сáжень — русская мера длины, равная примерно 2,13 м.
[3] вздыбить — šeit: uzcelt

и в кусачий, морозный и ветреный день
по сугробам глухим, прямиком, без дороги
этот камень везли — по рублю за сажéнь.
Сколько груза везли — даже дýги[1] ломались,
Лёд визжал под железом на взгорье крутом.
Даже сильные лошади к ночи шатались,
да нужду не отгонишь кнутом.
И царёвы рабы — мужики — слабели.
Знать судьба... Супротив не попрёшь[2]...
Только с жизнью прощаясь,
на смертной постели
избавленье от дамбы найдёшь.
Нет, не жадность гнала их в пролив за работой,
голод гнал дикий камень возить.
Сóлон хлеб, щедро политый собственным пóтом,
да ведь нужно же всё-таки жить!

. . . . . .

. . . . . .

Мужчины задумались:
«Быль. Не прикрашено.
Всё прямо из жизни берёт.
Некрасов-то, надо быть,
с острова нашего,
поблизости, видно, живёт.
Хоть тут не дорога, здесь дамба поставлена,
всё в песне, как в наших местах.
Певцом-то на плечи его
взвалена
и нашего тяжесть креста».

И дрожит, и пестреет окно...
Чу! Как крупные градины скачут!
Милый друг, поняла ты давно —
Здесь одни только камни не плачут.

Н. А. Некрасов. МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС

По ведёрочку слёз на сестрёнку уйдёт,
С полведра молодýхе[3] достанется,
А старуха-то мать и без меры возьмёт,
И без меры возьмёт — что останется.

Н. А. Некрасов. ДО СУМЕРЕК

[1] дугá — loks
[2] супротúв не попрёшь — не станешь сопротивляться
[3] молодýха (*прост. фольк.*) — jauna sieva

Вот идут стороной за судьбою судьба,
но за ними шагнёшь ты невольно.
Их жестокость не только заденет тебя:
бьёт и жжёт,
самому тебе больно.
Не заметишь, как строфы, печалью делясь,
всё вокруг отодвинут и спрячут,
и тебя вдруг обступит страданья земля,
где одни только камни не плачут...
Под окошком увидишь высокий сугроб,
снег, пустой небосвод сероватый;
кля́чу[1], дро́вни[2], крестьянский некрашеный гроб,
видишь Дарью с её утратой.
Сотня лет с похорон миновала — и что ж?
Стала прахом доска гробовая,
а сейчас словно сам ты за гробом идёшь,
как над близким, над Проклом рыдая.
Горько горем чужим и немил белый свет,
будто вправду хоронишь родного.
Как велик человечный и страстный поэт,
сколько силы таит его слово!
В комья мёрзлой земли
крестик простенький врос.
Вечереет. И ветер всё тише.
Вот обходом жестокий Мороз Красный нос
с королевскою па́лицей[3] вышел.
И крестьянки глаза утирают: да, да...
Жизнь сурова... Всё так, всё похоже —
потеряешь опору свою навсегда,
кто вдову защитит, кто поможет?
В каждой женщине чуточка Дарьи живёт.
На скамеечках просто и кротко,
призадумались: кто же детишек спасёт,
как помочь горемычным сироткам...

. . . . . .

. . . . . .

Зимний лес не шумит, не колышется,
коченеет в холодном уборе.
Лишь шаги отдалённые слышатся —
сам Мороз-воевода в дозоре.

[1] кля́ча (*прост.*) — kleperis
[2] дро́вни — ragavas
[3] па́лица — zizlis

Видишь — вон борода его белая,
Вон блестят на короне и мантии
ледяные кристаллы-брильянтики, —
даже в комнате стужей повеяло,
будто нам говорит он, кичáсь[1],
про свою безграничную власть.
Дремлют сосны в нарядах снежных,
сотней тысяч оттенков нежных
снег искрится.
Всё стынет, всё немо,
лишь стволы на морозе трещат.
Дарья рубит валéжник[2].
И все мы
вновь за ней устремляем взгляд.
Стали краски теплей. В этой гамме
засверкала тонов чистота —
солнца летнего жаркое пламя,
безмятежной любви красота.
Ощущаешь росу на рассвете,
Видишь — в росных искристых полях
Дарья с Проклом, их резвые дети,
вся счастливая их семья.
Это жизнь, с её светом, тенями.
Но могучий Некрасов ведёт
к новой муке. Опять перед нами
горе Дарьино криком встаёт.
И ещё напряжённей молчанье,
мысли в каждой кипят голове:
где же бог-то?
Какие страданья
Уготовил Морозко вдове?
Снежный лес, ты укрой её, милый,
от Морозкиных ласк и угроз!
Все мы Дарьюшку так полюбили,
ты зачем её мучишь, Мороз!
Холод. Оцепенéние[3] длится,
и ничем мы помочь не вольны́[4].
«А тепло ли тебе, молодица?» —
слышен голос с высокой сосны.

[1] кичи́ться — dižoties, lepoties
[2] валéжник — сухие сучья, деревья, упавшие на землю
[3] оцепенéние — stingums, sastingums
[4] не вольны́ — nespējīgi

«Мне тепло...» — шепчет Дарья.
Спустился
к ней Морозко и стал обнимать.
В её Проклушку вдруг обратился,
о любви начал жарко шептать.
И — конец.
Лес молчит. Всё скрывая,
с веток сыплется сахарный снег.
Коченея, усталая Дарья
сном волшебным уснула навек...

. . . . . .

. . . . . .

Словно вправду над нами самими
небосвод этот зимний застыл,
словно все мы простились с родными
и смириться с потерей нет сил,
в нас кручи́на[1] закралась бесшумно
и сумела любым овладеть.
Где мне знать, что тут каждый подумал —
души их нелегко разглядеть,
но я сам...
Мне хотелось до боли,
чтоб моя седовласая мать
эту песню о Дарьиной доле
вместе с нами могла услыхать.
Яркий полдень горит надо мною,
солнцем полон мой день любой.
Ты проходишь вечерней порою,
солнце скоро зайдёт над тобой.
И сейчас за некрасовской песней
образ твой предо мною стоит.
Если вдуматься, прямо и честно,
о тебе ведь поэт говорит!
Ты в дороге тяжёлой и длинной
через множество бедствий прошла.
Как солдатская мать Орина,
молчаливо заботу несла.
С юных лет не была счастливой,
зна́лась с о́сенью по весне́[2].
Так жестоко, так несправедливо

[1] кручи́на (*фольк.*) — skumjas, bēdas
[2] зна́ться с о́сенью по весне́ — dzīvot smagu dzīvi

обошло тебя счастье,
                что мне
не поверит никто, если строго
твой жестóкий удéл[1] оглянуть:
безотрадной этапной дорогой
пролегал весь твой жизненный путь.
О себе ты заботилась мало.
Ты, как птица своих птенцов,
нас от жизни лихóй[2] укрывала,
от когтей её и клыков.
Ты безмерную знала усталость.
Мы в долгу до конца наших дней —
нам хоть капелька детства досталась
лишь ценою
                всей жизни твоей.
Поседела ты ранним-рано —
жизнь тяжёлая ест, будто ржа[3].
Приучила ты нас неустанно
честных тружеников уважать,
тех, кто в поле трудится смолоду,
в бурном море ведёт корабли,
тех, чьим потом так щедро пóлиты
все дороги,
                все дамбы земли.
Нежных слов тобой мало брошено,
но без ласковых слов пустых
бесконечно много хорошего
в моей жизни оставила ты.
Я теплом твоим и сердечностью
буду греться до смертного дня.
Всеобъемлющей человечностью
ты всегда поражала меня;
ненавидеть враньё, краснобáйство[4],
чутко видеть добро, красоту —
эту мудрость простую, наказ твой
высоко я ценю и чту.
Ночь за окнами. Ветер весенний шальной
возле крыш неуёмно хлопóчет[5],

[1] удéл — здесь: судьба
[2] лихóй — здесь: smags, grūts
[3] ржа (*уст.*) — ржавчина
[4] краснобáйство (*разг.*) — пустословие
[5] хлопотáть — pūlēties

гнутся тёмные сосны в руках у него,
ро́пщет[1] море — рокочет, рокочет...
А в избе — ты зашла бы! — тепло, благодать.
Посидели бы, матушка, вместе.
Нам с тобой про Орину —
солдатскую мать
прочитала бы девушка песни.
Моя седенькая, я хочу от души,
чтоб была ты счастливей, бодрей.
Под сверкающим солнцем живи, не тужи
в стране радостных матерей.
Вечер жизни встречая с душой молодой,
видишь — ясен и долог он.
Преклоняюсь, родная, перед тобой,
до сырой земли мой поклон...

. . . . . .

Вечер с Некрасовым уже давно окончился. В окнах погасли огни. Деревня спит.

Но я всё ещё в смяте́нии[2], я захвачен всем этим и снова и снова возвращаюсь к вопросу: что такое поэзия? Чем увлекает она людей, в чём её сила, действенность, общественная функция?

Некрасов разволновал нас всех, но по-разному. Вообще-то здесь, где люди всегда находятся в гуще жизни, пейзажи в стихах забываются быстро. Всё внимание приковано к судьбам людей и к подробностям быта. Как водится, хорошим героям хорошего произведения все желают счастливой судьбы. Если же их жизнь складывается несчастливо, читатели обязательно переносят свою неприязнь на виновников этого несчастья — на несправедливость, господствующую в мире, на общественный строй. И молодёжь, слушая печальные и гневные стихи Некрасова, его глазами, словно через окно, глядя на чуждый им, далёкий уду́шливый[3] мир и на людей, судьбы которых переплетаются, взлетают или гибнут, на людей страстных, поэтичных, — молодёжь училась ненавидеть именно то, что нужно ненавидеть!

Старики, слушая эти стихи, неизбежно находили в них знакомые краски и чувства, проводили параллель

[1] ропта́ть — šeīt: šalkt
[2] смяте́ние — satraukums
[3] уду́шливый — nomācošs

со своей судьбой. Заново, другими глазами смотрели они в прошлое. К ночи они уже забыли имя поэта, но снова и снова возвращались на многие годы назад, к героям Некрасова, как к друзьям, товарищам по судьбе, и при этом думали не: «Что с тобой сделали!», а: «Что сделали с нами!» Поэт, унося нас в прошлое, не только напоминал о нём, не просто восстанавливал в памяти былое, но учил нас ненавидеть достойное ненависти!

Где кончается стихотворение? Там ли, где автор поставил последнюю точку? Бывает, конечно, и так. Но хорошее стихотворение кончается где-то дальше, гораздо дальше. Кончается там, куда оно приводит наши мысли; кончается выводами, которые под его влиянием мы сделаем когда-нибудь позже; кончается подвигом, на который это стихотворение вдохновило. Именно в характере и в глубине этого не сразу постигаемого влияния, вероятно, и заключается общественная функция поэзии.

Перевод с эстонского Вал. Рушкиса

ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ

МАРИАННА БАСИНА

СКВОЗЬ СУМРАК БЕЛЫХ НОЧЕЙ

(Главы из документальной повести)

БУРНЫЕ ДНИ

Ровно год статский советник Липранди подыскивал агента, пригодного на роль шпиона и провокатора в кружке Петрашевского. «Тут недостаточно было ввести в собрания человека только благонамеренного, — объяснял Липранди. — Агент этот должен был, сверх того, стоять в уровень в познаниях с теми лицами, в круг которых он должен был вступить... и, наконец, стать выше предрассудка, который в молве столь несправедливо и потому безнаказанно пятнает ненавистным именем доносчика... Такие агенты за деньги не отыскиваются. Но я был столь счастлив, что наконец вполне успел в этом...»

Добровольного агента, которого, в конце концов, нашёл-таки Липранди, звали Петром Антонелли. Он был сыном петербургского живописца, слушал лекции в университете.

Когда Антонелли согласился стать полицейским шпионом, его зачислили чиновником в министерство иностранных дел, в тот же департамент, где служил Петрашевский. Тут уж Антонелли было нетрудно, как бы невзначай, познакомиться со своим «подопечным». Вскоре он обратился к Петрашевскому за советом — Антонелли тягáлся с родственниками из-за наслéдства[1].

[1] тягáться — здесь: судиться; бороться

Дело было запутанное, кляузное, и новый знакомый попросил разрешения прийти к Петрашевскому на дом. Он наведался раз, другой. Затем без приглашения явился на «пятницу» и после того не пропускал ни одного собрания. Он внимательно слушал, всем поддакивал, даже сам понемножку бранил правительство, а придя домой, аккуратнейшим образом записывал, кто и что говорил.

В первый раз Антонелли увидел Достоевского в пятницу 1 апреля 1849 года. В тот вечер речь шла о свободе книгопечатания, перемене судопроизводства и, конечно, об освобождении крестьян. Василий Головинский, которого привёл на «пятницу» Достоевский, горячо и красноречиво говорил о том, что грешно и постыдно честному человеку равнодушно глядеть на страдания двенадцати миллионов крепостных рабов. Он резко возражал Петрашевскому, который считал, что проще сперва добиться судебной реформы, а потом уже требовать освобождения крестьян. Николай Момбелли полагал, что в ожидании отмены крепостного права каждый помещик обязан заботиться о просвещении народа, заведении школ. Поручик Григорьев заметил при этом, что правительство противится распространению грамотности среди мужиков. Он рассказывал, как его брат хотел было открыть школу в своём имении, но не получил на то дозволения властей.

В собрании 15 апреля главную роль играл Достоевский. Накануне он получил из Москвы, от гостившего там Плещеева копии со знаменитого письма Белинского к Гоголю и ответа Гоголя на это письмо. Оба документа он прочёл в тот вечер у Петрашевского.

По донесению Антонелли, чтение письма Белинского привело всех слушателей в возбуждение. Иван Ястржембский то и дело повторял по-польски: «О, то так! О, то так!» Слышались отрывистые восклицания, чьи-то одобрительные возгласы.

Глуховатый голос Достоевского звучал ровно и напряжённо.

«Самые живые, современные национальные вопросы в России теперь, — читал Достоевский, — уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, введение, по возможности, строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть. Это чувствует даже само правительство (которое хорошо знает, что делают по-

мещики со своими крестьянами и сколько последние ежегодно режут первых), что доказывается его робкими и бесплодными полумерами в пользу белых негров и комическим заменением однохвостого кнута трехвостою плетью. Вот вопросы, которыми тревожно занята Россия в её апатическом полусне!..»

Достоевский читал, и в этой гневно брошенной на бумагу ораторской речи ему слышались знакомые интонации, виделись загоревшиеся глаза и светлая прядь волос над высоким лбом Белинского. Словно бы и не читал он, а слушал самого Виссариона Григорьевича, слушал неотрывно и влюблённо... Нет, он и теперь не вполне разделял мысли, высказанные Белинским в его письме, он и теперь не уступил в том прежнем, давнем их споре. Но теперь в душе Достоевского поселилась страсть, неведомая ему прежде. Он понимал, он разделял теперь святое нетерпение Белинского, когда-то удивлявшее и едва ли не раздражавшее его. Жажда справедливости, всегда его мучившая, мечта о всеобщем счастье, всегда ему дорогая, нынче стали его неотступной мыслью, сделались неодолимой страстью. И не потому пошёл он за Спешневым, не потому вступил в Тайное общество и стал вдруг бунтарём, что строгие и неопровержимые доводы разума убедили его в необходимости и пользе революционного насилия. Нет, тут была не наука, не расчёт, но страсть. Ему надо было лишь одного: отдать всего себя великому и святому делу Справедливости. Он готов был, если понадобиться, пожертвовать собою, потому что немыслимо больше ждать, невозможно оставаться благополучным и невредимым при виде неизбы́вных страда́ний[1] человечества. Это была, собственно, та самая страсть, что сделала его поэтом, но сейчас она завладела не только воображением — его слова, его поступки, всё его существование пронизано было этим единым стремлением осуществить великую мечту или погибнуть. И вот в эти-то бурные месяцы он писал так уверенно, так быстро и вдохновенно, как, быть может, ещё никогда не писал.

Сразу же следом за «Белыми ночами» в январской книжке «Отечественных записок» за 1849 год явилась первая часть романа «Неточка Незванова». В

[1] неизбы́вные страда́ния — nebeidzamas ciešanas

февральской книжке была напечатана вторая часть. Третью часть он подготовил к печати, а еще три части романа, написанные начерно, отделывал и рассчитывал поместить в ближайших номерах журнала.

«Теперь я сижу безостановочно над 4-й частью, несмотря на то, что, едва кончив 3-ю, не дал себе ни крошки отдыху, — сообщал он Краевскому в конце марта, — ибо хочу... напечатать непременно 2 части в мае (т. е. 4-ю и 5-ю). Я и теперь рву волосы, что эпизод доставлен не весь, а разбит на 3 части. Ничего не кончено, а только возбуждено любопытство. А любопытство, возбужденное в начале месяца, по-моему, уже не то, что в конце месяца; оно охлаждается и самые лучшие сочинения теряют...»

Несколько дней спустя к Краевскому полетела записка: «...4-ая часть будет у вас к 15-му... Дайте мне 15 рублей серебром за 5-ю часть. Что вам 15 руб.? А мне это будет много. Помилуйте, я всю неделю без гроша, хоть бы что-нибудь! Если бы вы только знали, до чего я доведён! Только стыдно писать, да и не нужно. Ведь это просто срам, Андрей Александрович, что такие бедные сотрудники в «Отечественных записках». Ну, задолжали много: конечно, худо! Но ведь и отдача есть, и работа есть. Ведь кажется, что есть, Андрей Александрович. Пришлите мне, ради бога, Андрей Александрович, корректу́рные[1] листы́ 3-й части. Ужасно, как нужно!»

За два с лишним года перед тем, когда «Неточка Незванова» была ещё только задумана, Достоевский полагал писать свой роман в Италии — на досуге, на свободе. Но вышло не так. Не было досуга, была срочная, доводившая порою до изнеможения работа, были бесконечные, выма́тывавшие ду́шу[2] мелкие хлопоты из-за безденежья, были жаркие споры в политическом клубе у Петрашевского, была, наконец, конспирация, участие в Тайном обществе.

Тугой, упрямой пружиной закручивалась его судьба. Он сам так хотел. Он давно уже не жил иначе, как только изо всех сил, только взахлёб[3]. Ему именно нра-

[1] корректу́рный — предназначенный для исправления ошибок оттиск с типографского набора

[2] Выма́тывать ду́шу — nomocīt līdz nāvei

[3] взахлёб (*прост.*) — aizgūtnēm

вилась та жизнь, что заставляла до предела напрягать волю, напрягать способности. Ему сделался необходимым этот ежедневный труд постиже́ния[1] людской души — самого средото́чия жи́зни[2] — во всех ее изгибах, противоречиях, во всей сложности и богатстве.

И ни в одном из прежних своих сочинений не явился он ещё таким глубоким художником, таким тонким психологом, как в «Неточке Незвановой» — столь тщательно обдуманной, так много раз переправленной и переписанной, выношенной, что называется, за эти два года.

Роман его в журнале имел подзаголовок: «История одной женщины». Здесь Достоевский впервые рисовал историю характера, историю развития личности. Первые две части романа были воспоминанием героини о её детстве, третья часть — воспоминанием о годах отрочества. Излюбленная тема Достоевского этих лет — тема мечтательства — зазвучала здесь по-новому, естественно сплетаясь с рассказом о жизни ребёнка. Ведь всякий ребенок — мечтатель. Мечты его — защита от непонятного, страшного, трагического, что видит он вокруг. А детство Неточки мрачно. И причудливые, порою дикие представления возникают в сознании девочки, чьи ранние годы связаны с образом больной умирающей матери и полубезумного отчима-музыканта, спившегося, погубившего свой талант. Одарённая чуткой, любящей натурой, Неточка, взрослея, преодолевает свою мечтательность, крепнет душой. Складывается характер действенный, живой, сильный.

«История одной женщины»... Достоевский был убеждён, что роман этот станет новой и едва ли не самой блистательной его удачей. «Я знаю, что это произведение серьёзное. Говорю, наконец, это не я, а говорят все». Днями и ночами сидел он теперь над продолжением своего романа, закончить который — увы! — ему не было суждено.

«ПО ВЫСОЧАЙШЕМУ ПОВЕЛЕНИЮ...»

Без малого четырнадцать месяцев полиция наблюдала за Петрашевским и его кружком.

[1] постиже́ние — izprašana

[2] средото́чие жи́зни — (pats) dzīves vidus

20 апреля 1849 года Липранди приказано было передать собранные им материалы в Третье отделение. Шеф жандармов граф Орлов ознакомил с ними царя.

«Я всё прочёл, — писал царь Орлову, — дело важное, ибо ежели было только одно враньё, то и оно в высшей степени преступно и нестерпимо. Приступить к арестованию...»

Начальник Третьего отделения немедленно дал секретные предписания об аресте тридцати четырёх лиц. В числе предписаний было и следующее:

«Господину майору С. Петербургского жандармского дивизиона Чудинову.

По высочайшему повелению, предписываю Вашему высокородию завтра, в 4 часа по полуночи, арестовать отставного инженер-поручика и литератора Фёдора Михайловича Достоевского, живущего на углу Малой Морской и Вознесенского проспекта д. Шиля, в 3-м этаже, в квартире Бреммера, опечатать все его бумаги и книги и оные вместе с Достоевским доставить в III отделение собственной его императорского величества канцелярии. При сем случае вы должны строго наблюдать, чтобы из бумаг Достоевского ничего не было скрыто».

Предписание было дано 22 апреля, в пятницу.

День был пасмурный. С утра небо хмурилось, а к вечеру пошёл проливной дождь. Около семи часов доктор Яновский, собравшийся было пить чай, услыхал в прихожей звонок и затем голос Фёдора Михайловича. Яновский выбежал навстречу гостю и увидел Достоевского, с которого ручьями стекала вода.

— Заметил у вас огонёк, зашёл, — сказал Достоевский, — да заодно надо и пообсушиться.

Яновский принёс гостю своё бельё и сапоги, а снятое велел слуге просушить у плиты. Они напились чаю. Прошло часа два — слуга подал просохшие вещи, и Фёдор Михайлович, снова переодевшись, собрался уходить. Дождь лил по-прежнему.

— Как же вы пойдёте в такую погоду, — остановил его Яновский, — на ходу дождь вас опять промочит.

— В таком случае, — улыбнулся Достоевский, — дайте мне немного денег. Я поеду на извозчике.

Но, как на грех, собственных денег у Яновского не оказалось ни копейки, а в заведенной ими общей кассе лежали одни десятирублёвые бумажки.

— Скверно, — поморщился Фёдор Михайлович и собрался было уходить, но Яновский вспомнил про железную копилку, в которую собирали пятачки для раздачи нищим. Достоевский согласился позаимствовать из копилки и взял шесть пятачков.

Но домой он не поехал, а отправился к члену Тайного общества поручику Николаю Григорьеву, у которого засиделся допоздна. Уходя, взял почитать запрещённую книгу Эжена Сю[1] «Караванский па́стырь[2], беседы о социализме».

Воротившись домой уже среди ночи, Достоевский тотчас лёг спать.

Не более как через час он сквозь сон услышал, что в комнату его вошли какие-то люди. Вот как будто брякнула сабля, кто-то задел стул. С усилием открыв глаза, Достоевский повернул голову.

— Вставайте! — раздался мягкий вкрадчивый голос.

Рядом стоял частный полицейский пристав с красивыми бакенбардами. Но говорил не он, говорил господин, одетый в голубой жандармский мундир с эполетами майора.

— Что случилось? — спросил, приподнявшись на кровати, Достоевский.

— По высочайшему повелению... — Майор показал бумагу.

Достоевский увидел в дверях ещё жандарма при сабле.

— Позвольте же мне...

— Ничего, ничего! Одевайтесь. Мы подождём-с, — проговорил майор совсем уже мягко и ласково.

Пока Фёдор Михайлович одевался, жандармы рылись в книгах. Бумаги и письма аккуратно перевязали верёвочками. Полицейский пристав, проявлявший особенное усердие, взял со стола чубук и, открыв печь, стал шарить в золе. Ничего не найдя, он подозвал жандармского унтер-офицера. Тот встал на стул и полез на печь, но сорвался, с грохотом упал на стул и со стулом на пол.

Между тем неугомонный пристав, заметив на столе

[1] Эжен Сю (1804—1857) — французский писатель, автор социальных романов о бедственном положении народа.

[2] па́стырь (*уст.*) — пастух

пятиалты́нный[1], старый и погнутый, внимательно оглядел его и значительно кивнул майору.

— Уж не фальшивый ли? — усмехнулся Достоевский.

— Гм... Это, однако, надо исследовать, — пробормотал пристав и присоединил пятиалтынный «к делу».

Обыск окончился, и арестованного вывели. В дверях стояла перепуганная хозяйка, которой невдомёк[2] было, каким таким страшным преступником оказался ее постоя́лец[3]: она в эти два года не замечала за ним ничего предосудительного, кроме того разве, что он весьма неаккуратно платил за квартиру. Тут же торчал и хозяйский слуга Иван — тоже испуганный, но глядевший с приличною случаю мрачной торжественностью.

На улице, несмотря на ранний час, было светло. Дождь прекратился. Стояла прекрасная, нежная, фантастическая петербургская белая ночь. На светлом небе бледно сияла игла Адмиралтейства.

В карету, стоявшую у подъезда, сел жандарм, за ним Достоевский, следом майор и частный пристав. Лошади тронули — и карета покатила в сторону Летнего сада, к дому Третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии.

В ту же ночь арестованы были ещё тридцать два посетителя домика у Покрова и, конечно, Петрашевский.

К нему пожаловал сам генерал Дубельт.

— Одевайтесь, — приказал он. Петрашевский был в халате.

— Я одет.

— То есть как?

— Я ночью никогда не одеваюсь иначе.

— Вы не знаете, куда поедете и с кем будете говорить! Советую вам одеться.

Петрашевский рассмеялся и пошёл одеваться. Дубельт тем временем перелистывал книги.

— Не смотрите их, генерал, прошу вас!

— Почему?

— Тут все запрещённые издания. Боюсь, вам станет дурно.

[1] пятиалты́нный — pieckapeika

[2] невдомёк (*разг.*) — nesaprast

[3] постоя́лец (*уст.*) — īrnieks

— Зачем же вы держите запрещённые книги?

— Видите ли, генерал, это дело вкуса...

В большом зале в доме Третьего отделения Достоевский встретил много знакомых лиц. Жандармы то и дело вводили арестованных. Вдруг в дальнем конце зала Достоевский увидел брата Андрея.

— Брат, ты как здесь?

Но говорить им не дали. Андрея увели. Достоевский догадался, что младшего брата взяли по ошибке — вместо Михаила.

«СЕКРЕТНЫЙ ДОМ»

Всех арестованных по делу Петрашевского из Третьего отделения отправили в Петропавловскую крепость и развели по камерам. Достоевского, как «одного из важнейших», заперли в тюрьме Алексеевского равелина.

Тюрьма эта, или, как ее называли, «Секретный дом», была страшным, особо секретным царским застенком. Сюда помещали самых опасных политических преступников.

Раз в году, в пра́здник Преполовле́ния[1], когда по стенам крепости устраивали крестный ход, простые смертные могли видеть где-то внизу, внутри треугольного Алексеевского равелина приземистое треугольное одноэтажное здание, вокруг которого с саблями наголо ходили часовые. Это и был «Секретный дом», о котором обычно упоминали шёпотом, боязливо оглядываясь и поспешно крестясь.

Сырые, холодные, мрачные одиночки «Секретного дома» кишмя кишели крысами и мерзкими насекомыми. Днём в тюрьме царила жуткая тишина, ночью гремели ключи и засовы — узников выводили на допрос.

Всё было сделано для того, чтобы сломить арестанта и духовно и телесно. Собственную одежду отбирали — взамен давали грязное, заношенное, заплатанное отре́нье[2] из грубого холста. Причём это отрепье надевалось прямо на голое тело. Таким же грязным и заношенным был арестантский халат. Обувь заменяли

[1] пра́здник Преполовле́ния — весенний религиозный праздник

[2] отре́нье — skrandas

огромные стоптанные туфли без задников, затруднявшие ходьбу и сваливавшиеся с ног. Скудную пищу из несвежих продуктов готовили в плохо лужённых[1] котлах. Хлеб был полусырым, вода с каким-то странным привкусом.

Узники чувствовали себя заживо погребёнными. Их и действительно вычёркивали из жизни. Не Фёдор Достоевский, а № 9 — по номеру камеры.

Две недели провёл Достоевский, не выходя из каземата. Четыре стены. Ни пера, ни чернил, ни книг, ни людей. Койка, стол да под потолком за решёткою квадратик бледного неба... Шестого мая его вызвали, наконец, к допросу. В большой комнате комендантского дома заседала назначенная царём следственная комиссия. Над крытым красным сукном столом склонились, вычитывая что-то в бумагах, пять голов. Когда конвойные ввели его в залу, пять пар глаз уставились на него и принялись ощупывать и оценивать. Пятеро важных сановников империи удостоили его вниманием: комендант Петропавловской крепости Набоков, начальник штаба корпуса жандармов Дубельт, сенатор Гагарин, помощник военного министра Долгоруков, начальник военно-учебных заведений Ростовцев.

Отставного инженера-поручика Достоевского ласково, но твёрдо попросили дать чистосердечные показания как в отношении собственных его действий, так и действий других лиц. Его спросили, для чего собирались молодые люди по пятницам у Петрашевского. И что знает он, Достоевский, о Петрашевском и об этих людях. Не было ли какой тайной, скрытой цели в обществе Петрашевского. И точно ли на «пятницах» говорили либерально и вольнодумно. И правда ли, что он, Фёдор Достоевский, прочёл в собрании 15 апреля письмо литератора Белинского к литератору Гоголю...

На все вопросы Достоевский отвечал кратко и по возможности уклончиво. Генерал Ростовцев, изображая отеческое сожаление о заблудшем и просвещённую заботливость о молодом таланте, обратился к Достоевскому с прочувствованной речью:

— Я не могу поверить, чтобы автор «Бедных людей» был заодно с этими порóчными[2] юношами! Это невоз-

[1] лужённый — alvots

[2] порóчный — netikumīgs

можно. Вы мало замешаны. Расскажите нам без утайки всё дело. Я выпрошу у государя прощение для вас!

Но Достоевский, вопреки ожиданиям генерала, не польстился на приманку. Он повторял одно: собрания у Петрашевского были дружескими сходками, никакого общества не существовало, никакой тайной цели не было, собирались единственно для того, чтобы потолковать, поспорить, и если иной раз и срывалось резкое слово, то не иначе, как в пылу спора между приятелями, — это ли преступление?

Видя, что Достоевский не собирается «чистосердечно признаваться» и оговаривать товарищей, генерал Ростовцев по-актёрски закрыл глаза ладонью и трагическим тоном воскликнул:

— Я не могу вас больше видеть!

Толстый генерал вскочил со своего места и выбежал в другую комнату. Достоевскому предложено было хорошенько обдумать ответы на заданные вопросы и представить комиссии письменные показания. С тем его и увели обратно в каземат.

Однако напрасно следователи надеялись, что в мёртвой тишине и полумраке сырого каменного склепа, куда не проникало ни единого звука, кроме чуть слышного перезвона курантов на Петропавловском соборе, заключённый «номер девять» затоскует, падёт духом и оттого сделается податливее, перестанет «запираться». Достоевский и в письменных показаниях стоял на своём. Он не только не каялся, но как будто даже хотел пристыдить своих обвинителей.

«...Если желать лучшего есть либерализм, вольнодумство, то в этом смысле, может быть, я вольнодумец, — писал «номер девятый». — Я вольнодумец в том же смысле, в котором может быть назван вольнодумцем и каждый человек, который в глубине сердца своего чувствует себя вправе быть гражданином, чувствует себя вправе желать добра своему отечеству, потому что находит в сердце своём и любовь к отечеству, и сознание, что никогда ничем не повредил ему... В чём обвиняют меня? В том, что я говорил о политике, о Западе, о цензуре и проч.? Но кто же не говорил и не думал в наше время об этих вопросах?.. Неужели обвинят нас, которым дали известную степень образования, в которых возбудили жажду знания и науки — неужели обвинят нас в том, что мы имели

столько любопытства, чтоб говорить иногда о Западе, о политических событиях, читать современные книги, приглядываться к движению западному, даже изучать его по возможности».

Ещё прежде чем допросили Фёдора Михайловича, вызвали в комиссию его младшего брата — Андрея.

— Знакомы ли вы с Буташевичем-Петрашевским? — спросили его.

— Нет, я Петрашевского не знаю, — отвечал Андрей Михайлович, и вправду совсем не причастный к делам старших братьев, — а как, ваше превосходительство, назвали другого?

Он решил, что у него спрашивают о двух разных людях. Следователи поняли, что Антонелли напутал и что Достоевского-младшего арестовали напрасно. Навели справки. Андрея Достоевского выпустили, а вместо него забрали Михаила.

Мысль о брате неотступно мучила Фёдора Михайловича. Он написал в следственную комиссию: «Брат мой Михайло Достоевский познакомился с Петрашевским тоже через меня, когда жил со мною вместе по приезде из Ревеля. Петрашевского он увидел в первый раз у меня и был приглашён им на вечер; я повёл брата, чтобы доставить ему знакомство и развлечение; ибо по приезде из Ревеля он никого не знал в Петербурге и скучал по своем семействе... В этом знакомстве я виноват, а вместе в несчастии брата и семейства его. Ибо если я и другие в эти два месяца заключения вытерпели только тоску и скуку, то он выстрадал в десять раз более в сравнении с нами; он от природы сложения слабого, наклонен к чахотке и сверх того мучается душой о погибшем семействе своём, которое должно буквально и неизбежно погибнуть с тоски, лишений и голода в его отсутствие. И потому этот арест должен быть для него буквально казнью, тогда как виновен он менее всех. Я считал обязанным сказать это...»

Бесконечно долгими днями, бессонными ночами он не раз и не два спрашивал себя: прав ли он был, когда уговаривал брата бросить опостылевшую[1] службу и перебраться в Петербург? Неужто не прав, если здесь, в столице, Михаил зажил новой жизнью, если, нако-

[1] опостылевший — apnicīgs

нец, отдался родной его сердцу литературе — и с какой радостью, с какой надеждой!.. Михаил написал повесть, начал роман, переводил, сочинял статьи для «Отечественных записок» и ещё успевал преподавать русскую словесность в женском Кузнецовском училище. И теперь это обернулось несчастьем для брата. Зачем только он позволил ему бывать у Петрашевского! Михаилу не должно было рисковать. Но и то сказать, как же быть писателем и не жить? А жить — это и значит всегда рисковать. Вот хоть он сам — как вечера у Петрашевского, а потом их Тайное общество поднимали, очищали его душу, в то самое время, когда он писал «Белые ночи» и «Неточку Незванову».

«Неточка»... Неоконченный роман не давал покоя. Едва получив разрешение писать на волю, Достоевский просил брата Андрея: «У брата Михаила есть билет на получение «Отечественных записок». Майский номер нынешнего года, должно быть, ещё не взят. Попроси билет у Эмилии Фёдоровны, возьми для меня книгу и перешли мне её. Там напечатана третья часть моего романа, но без меня, без моего надзора, так что я даже и корректур не видал. Я беспокоюсь: что-то они там напечатали и не исказили ли роман? Так пришли мне этот том».

Сознание того, что от его участи зависит и участь неоконченного его романа и многих других, уже задуманных им произведений, которые он обязан, которые просто не может не написать, — эта мысль не позволяла унывать, заставляла надеяться и бороться: не ради себя, ради них — не написанных ещё его романов...

«Я ВЁЛ СЕБЯ ПЕРЕД СУДОМ ЧЕСТНО»

Из показаний Михаила Достоевского, а также из показаний многих арестованных следственная комиссия усмотрела, что Михаил Михайлович на собраниях у Петрашевского бывал редко, речей там не произносил, обыкновенно вовсе молчал, а иной раз даже удерживал других от очень уж резких суждений. Поскольку при всём старании комиссии не удалось узнать ни о каких действиях или хотя бы словах, которые можно было бы вмени́ть ему в вину́[1], решено было Достоев-

[1] вмени́ть в вину́ — inkriminēt

ского-старшего из заключения освободить, оставив его, однако, под тайным надзором полиции.

Как-то в конце июня Фёдора Михайловича вызвали в комендантский дом и там сообщили ему об освобождении брата. А вскоре он получил от Михаила весточку: «...Милый друг мой, как бы хотелось мне, чтоб из письма этого ты мог вычитать хоть строчку утешения для себя. Я знаю, что для твоего доброго и великодушного сердца будет отрадно узнать, что я уже две недели живу в кругу своего семейства... Я уверен, что во все это несчастное для нас время ты думал и скорбе́л[1] обо мне более, чем о себе... Я уверен в этом, потому что я знаю тебя, знаю любовь твою и дружбу к себе... В эти две недели мне часто случалось ощущать минуты невыразимого счастия и каждый раз воспоминание о тебе наводило на меня грусть и тоску. Я думал тогда о твоём болезненном состоянии, и о впечатлительности твоей, которая по необходимости должна удваивать твои страдания».

Фёдор Михайлович отвечал: «...Конечно, скучно и тошно, да что же делать? Впрочем, не всегда и скучно. Вообще, моё время идёт чрезвычайно неровно, — то слишком скоро, то тянется. Другой раз даже чувствуешь, как будто уже привык к такой жизни и что всё равно. Я, конечно, гоню все соблазны от воображения, но другой раз с ними не справишься, и прежняя жизнь так и ломится в душу с прежними впечатлениями, и прошлое переживается снова. Да, впрочем, это в порядке вещей. Теперь ясные дни, большею частию по крайней мере и немножко веселее стало. Но ненастные дни невыносимы, казамат смотрит суровее. У меня есть и занятия. Я времени даром не терял: выдумал три повести и два романа; один из них пишу теперь...»

На третьем месяце заключения ему разрешили писать. Он начал было роман, но вскоре оставил. Принялся за повесть. Назвал её «Детская сказка» (потом дал ей другое имя — «Маленький герой»). В повести его речь шла о мальчике одиннадцати лет. Место действия — богатое подмосковное имение, куда в летнее время собралась пёстрая толпа богатых веселящихся гостей. Праздники, развлечения... Робкий мальчик,

скорбе́ть — skumt, sērot

впервые в жизни оказавшийся в столь блестящем и шумном обществе, захвачен, ошеломлён какими-то новыми, дото́ле[1] незнакомыми чувствами. Среди множества светских красавиц, чьи голоса и смех непрестанно оглашают старинный помещичий «замок», воображение мальчика пленяет одна — самая прекрасная и притом страдающая молодая женщина. В сердце ребёнка рождается самоотверженная, высокая страсть.

Солнце, веселье, нежность, красота — в этот мир, не подвластный никаким тюремным смотрителям, на несколько часов в день переселялся теперь узник Алексеевского равелина. Часы работы дарили его душе несказанную отраду, но сильнейшее нервное возбуждение порою оказывалось ему не по силам. «...Боюсь работать много, — писал Достоевский брату. — Эта работа, особенно если она делается с охотою (а я никогда не работал так con amore, как теперь), всегда изнуряла меня, действуя на нервы. Когда я работал на свободе, мне нужно было непрерывно прерывать себя развлечениями, а здесь волнение после письма должно проходить само собою. Месяц спустя он жаловался: «...Нервы мои расстраиваются. Когда такое нервное время находило на меня прежде, то я пользовался им, чтобы писать, — всегда в таком состоянии напишешь лучше и больше, но теперь воздерживаюсь, чтобы не доконáть[2] себя окончательно. У меня был промежуток недели в три, в котором я ничего не писал; теперь опять начал».

Единственно, что успокаивало его, что помогало перебить, как он говорил, свои напряжённые думы чужими мыслями, — это чтение. Михаил прислал ему драмы Шекспира в русском переводе, свежие тома «Отечественных записок». Великого англичанина он перечитывал не торопясь, а журналы поглощал с жадностью, прочитывал от доскú до доскú[3]. Особенно понравились ему роман Шарлотты Бронте «Джен Эйр», перевод которого шёл из номера в номер, и историческое исследование о завоевании Перу испанцами. Из тюремной библиотеки Достоевскому выдали два описания путешествий к святым местам и сочинения

[1] дото́ле (*уст.*) — līdz šīm

[2] доконáть (*разг.*) — nobeigt; sabeigt

[3] от доскú до доскú — no vāka līdz vākam

святого Димитрия Ростовского: изданий иного рода здесь не держали. «Книги, хоть капля в море, но всё-таки помогают». Он не просто читал, он точно бы разговаривал с людьми, сообщавшими ему свои мысли. То соглашался, то горячо спорил. И порою вовсе забывал, где находится...

Скрежет ключа в замке́ и голос тюремного надзирателя: «Пожалуйте за мной!» — возвращал к действительности. Следствие шло своим чередом — допросы, письменные показания, снова допросы. И от того, что он скажет, в чём сознается и о чём умолчит, что ответит, зависела его собственная будущность и судьба товарищей. Всё время приходилось быть начеку, чтобы не сбиться, не запутаться, чтобы изобразить искренность и в то же время не сказать лишнего, не проболтаться.

В руках у следователей были доносы Антонелли, дневники, письма, бумаги, книги заключённых. Следователи из кожи вон лезли, чтобы узнать их тайные помыслы, сокровенные намерения. И кое-что всплыло. Дознались, между прочим, о намерении создать тайную типографию. Павел Филиппов признался, что заказывал по частям печатный станок. Спешнев, однако, решительно взял вину на себя, утверждая, что Филиппов действовал по его просьбе и все устраивал на его деньги. Снарядили новые обыски, но типографского станка так и не нашли. Дело в том, что станок в разобранном виде хранился у одного из членов Тайного общества, в его кабинете, где стояло множество всевозможных физических приборов и машин. При первом обыске его не заметили. По уходе жандармов, опечатавших кабинет, родственники арестованного осторожно, не повредив печати, сняли дверь с петель, вынесли станок, а затем навесили дверь обратно на место.

Подозревая существование Тайного общества, следователи тем не менее никак не могли напасть на его след. Достоевский на вопрос о тайной организации отвечал кратко: «Ни о чём подобном не знаю...»

Высочайше учреждённой комиссии иной раз удавалось уличить Достоевского в умолчании, в неточности и неполноте показаний. Он в таких случаях неизменно ссылался на свою забывчивость и повторял без устали: ничего противозаконного в кружке Петрашевского не

замышляли, а если что и было, то он, Фёдор Достоевский, об этом не знал.

Он вступил со своими следователями в опасный и трудный поединок. И притом, как мог, выгора́живал[1] товарищей. В своих показаниях он распространялся о молодости и юношеской горячности Филиппова и Головинского и просил для них снисхождения, заверяя, что знает их с самой лучшей стороны. Он пустился в подробнейший разбор характера Петрашевского, выставляя его странным, даже смешным, но благородным чудаком, этаким Дон Кихотом.

Смелость суждений и упорное «запирательство» Достоевского чрезвычайно раздражали следственную комиссию. Отказавшийся от роли благожелателя генерал Ростовцев отзывался о нём: «Умный, независимый, упрямый и хитрый».

И Достоевский имел полное право впоследствии сказать: «...Я вёл себя перед судом честно, не сваливал своей вины на других и даже жертвовал своими интересами, если видел возможность своим признанием выгородить из беды других... Но я поверил себе, я не сознавался во всём и за это наказан был строже».

«ВЕЧНОЕ ДУМАНЬЕ И ОДНО ТОЛЬКО ДУМАНЬЕ»

С Петрашевским и его товарищами обходились в тюрьме как с завзя́тыми[2] преступниками. Между тем вина их ещё не была доказана и они не были осуждены.

Никогда не упускавший случая протестовать против нарушения законов, Петрашевский и тут остался верен себе. Он обратился в следственную комиссию с жалобой, где доказывал, что одиночное заключение может пагубно отразиться на физическом и особенно на душевном здоровье людей нервных и впечатлительных. Он, между прочим, указывал следователям на «нервическую раздражительность» Достоевского и добавлял: «Не забудьте, что большие таланты (талант Достоевского не из маленьких в нашей литературе) есть собственность

[1] выгора́живать (*разг.*) — glābt; aizstāvēt

[2] завзя́тый (*разг.*) — nelabojams

общественная, достояние народное. Что если вместо талантливых людей, оклеветанных, по окончании следствия будет несколько помешанных? Чтоб этого не могло быть — от вас зависит».

Но ни жалобы, ни увещевания[1] не возымели на следственную комиссию никакого действия.

Правда, поначалу — было это в мае — узников Алексеевского равелина на несколько минут в день выводили гулять. В сопровождении солдата-конвоира Достоевский кружил по маленькому тюремному дворику. Как упоительно было после каменных плит каземата почувствовать под ногами тёплую землю! Как радостно было видеть живые деревья! Он не раз пересчитывал — их росло здесь семнадцать. Свежая зелень на фоне высоких каменных стен напоминала ему Ревель: его поездки к брату по весне. А ещё в памяти вставал садик возле Инженерного замка, откуда тоже нельзя было выйти без спросу. «Мне всё казалось... — писал он Михаилу, — что и ты делаешь это сравнение...» Но вскоре и такого невинного удовольствия они были лишены: прогулки запретили. Выводили только на допросы.

Долгое время заключённым не давали в камеры свечей. Достоевского мучила бессонница, и в эти часы, когда он лежал в темноте без сна и слушал дальний бой соборных курантов, были едва ли не самыми тяжкими...

К концу лета им снова разрешили гулять в тюремном дворике, позволили жечь свечи по вечерам. Но несколько месяцев в сырой одиночке не прошли бесследно. В груди появились боли, которых не было прежде. Пропал аппетит. По временам Достоевскому начинало казаться, что пол в его камере колышется, как в пароходной каюте. А тут ещё подступила петербургская осень и всегда-то имевшая на него влияние гнетущее, мрачное.

«Вот уже пять месяцев, без малого, как я живу своими средствами, то есть одной своей головой и больше ничем. Покамест ещё машина не развинтилась и действует. Впрочем, вечное думанье и одно только думанье, без всяких внешних впечатлений, чтоб возрождать и поддерживать думу — тяжело! Я весь как будто под воздушным насосом, из-под которого воздух вытяги-

[1] увещева́ние (*уст.*) — pierunāšana; pārliecināšana

вают. Всё из меня ушло в голову, а из головы в мысль, всё, решительно всё, и несмотря на то, что работа с каждым днём увеличивается».

В его крошечном, переплетённом тройной решёткою небе потянулись рваные серые облака, зарядил бесконечный осенний дождичек. И мучительную тоску не скрашивали уже те нежные слова участия, что прежде слал ему с воли брат, — переписку с родными запретили.

Узнику Алексеевского равелина не мудрено было лишиться разума. Мрачное предчувствие не обмануло Петрашевского — трое из его товарищей заболели в тюрьме тяжёлым нервным расстройством. Но Достоевский не сломился — напротив, яви́л[1] столько выдержки, хладнокровия, как самые мужественные из петрашевцев.

Фёдор Михайлович обладал редкой душевной стойкостью, всегда проявлявшейся в самые тяжкие минуты жизни. Этим он был похож на мать. Даже во время последней своей болезни, зная, что умирает, Мария Фёдоровна нашла в себе силы утешать потерявшего голову мужа. Исхудавшая, коротко остриженная — уже не могла расчёсывать густые длинные волосы — она ласково беседовала с детьми, просила почитать ей стихи. И теперь её сын, заключённый в одиночку «Секретного дома», так же бестрепетно нёс свой крест.

Во всё время заключения арестанты пребывали в тягостной неизвестности — когда кончится дело и чем оно может кончиться. К началу октября следственная комиссия завершила «следственное производство», которое заняло более девяти тысяч листов бумаги, и передала собранные материалы специально назначенной военно-судной комиссии. Во главе её царь поставил министра внутренних дел генерала Перовского — того самого, что направил Липранди и его агентов по следам Петрашевского. Желая возвеличить свои заслуги перед отечеством, Перовский утверждал, что его стараниями открыт опаснейший заговор, грозивший чуть ли не гибелью целой России. Николай I, напуганный революцией в Европе, готов был верить рети́вому[2] министру. Во всяком случае, поручив ему судить петрашевцев, царь не сомневался, что Перовский не преми́нет обрати́ть[3] против них

[1] яви́ть (*высок.*) — parādīt

[2] рети́вый (*разг.*) — uzcītīgs

[3] не преми́нет обрати́ть — не упустит возможности обратить

всю строгость военно-полевых законов. Беспощадной расправой с Петрашевским и его товарищами Николай желал преподать грозный урок всей этой вольнодумной молодёжи, всем российским поклонникам западных социальных теорий и утопий.

Военный суд шёл при закрытых дверях и продолжался шесть недель. Шестнадцатого ноября вынесенный судом приговор был передан на заключение генерал-аудитору, то есть верховному прокурору. Насчёт отставного инженер-поручика Фёдора Достоевского приговор гласил: «Военный суд находит подсудимого Достоевского виновным в том, что он, получив в марте месяце сего года из Москвы от дворянина Плещеева (подсудимого) копию с преступного письма литератора Белинского — читал это письмо на собраниях: сначала у подсудимого Дурова, потом у подсудимого Петрашевского и, наконец, передал его для списания копий подсудимому Момбелли. Достоевский был у подсудимого Спешнева во время чтения возмутительного сочинения поручика Григорьева под названием «Солдатская беседа». А потому военный суд приговорил его, отставного инженер-поручика Достоевского, за недонесение о распространении преступного о религии и правительстве письма литератора Белинского и злоумышленного сочинения поручика Григорьева, — лишить, на основании Свода Военных постановлений ч. V кн. I, ст. 142, 144, 169, 170, 172, 174, 176, 177 и 178, чинов, всех прав состояния и подвергнуть смертной казни расстрелянием».

Генерал-аудитор приговор Военного суда утвердил, назначив смертную казнь двадцати одному осуждённому. Своё решение генерал-аудитор объяснял так: «... Хотя степень виновности их различная, ибо одни из них более, другие менее принимали участие в злоумышлении, но как все они суждены по Полевому Уголовному Уложению, в преступлениях же государственных, по точной силе наших законов, не постановлено различия между главными виновниками и соучастниками, то на основании сего Уложения, генерал-аудитор полагает: всех сих подсудимых... подвергнуть смертной казни расстрелянием».

Однако, как это ему заранее было предписано, генерал-аудитор обратился к царю с просьбой о помиловании осуждённых и предложил заменить смертную казнь другими наказаниями. В частности, подсудимого Досто-

евского предложено было сослать в каторгу на восемь лет.

Генерал-аудитор нарочно определял наказания весьма суровые, чтобы царь мог с лёгкостью явить своё «милосердие». Так, на приговоре Достоевскому Николай I начертал: «На четыре года, а потом рядовым».

Впрочем, в иных случаях царь счёл слишком мягкой кару, назначенную генерал-аудитором. Ивану Ястржембскому, на которого Антонелли донёс, что тот злословил императора и называл его «богдыха̀ном»[1], Николай значительно увеличил срок каторжных работ.

Избавив осуждённых от смерти, царь тем не менее распорядился инсценировать казнь и, не прежде чем на «преступников» будут уже наведены ружейные стволы, прочесть им настоящий приговор.

С наслаждением и́стого[2] театрала — Николай обожал представления и в молодости даже ставил любительские спектакли и сам играл в них — самодержец лично разрабатывал все мизансцены придуманного им зловещего фарса. Дабы осуждённые на смерть успели вполне восчувствовать своё положение, Николай приказал у них на глазах рыть им могилы. С трудом приближённые уговорили царя отказаться от этой затеи. Казнь решено было инсценировать на площади в центре Петербурга, и очень уж странно было бы делать вид, что прямо тут, посреди города, похоронят преступников. Но и без рытья могил сочинённая царём процедура обещала быть достаточно изуве́рской[3] и гнусной...

Петрашевскому и его товарищам, восемь месяцев сносившим царский гнев, теперь предстояло испытать, что же такое царская милость.

«ПОДВЕРГНУТЬ СМЕРТНОЙ КАЗНИ РАССТРЕЛЯНИЕМ»

Ранним утром 22 декабря, едва проснувшись, Достоевский услыхал какое-то небывалое движение в тюремном коридоре: проходили туда-сюда крепостные

[1] богдыха́н (*уст.*) — титул китайского императора, отличавшегося особой жестокостью

[2] и́стый — īsts

[3] изуве́рский — здесь: жесто́кий

служители, слышались голоса. Вдруг зазвенели связки ключей и стали отворять одну за другой камеры заключённых. Вошли к нему — офицер и тюремщик. Принесли его платье — то, в котором его арестовали, — и ещё тёплые толстые чулки.

— Одевайтесь, — сказал офицер, — и чулки не забудьте. На улице морозно.

— Для чего это? Куда нас повезут?

— Увидите.

Офицер вышел. Едва Достоевский был готов, сторож выпустил его в коридор. Под конвоем повели к выходу. У крыльца стояло несколько узких двухместных карет. Далее — эскадроны жандармов с саблями наголо. Солдат отворил дверцу кареты. Достоевский сел, солдат поместился рядом. Карета тронулась. Колёса скрипели, хрустел глубокий снег.

— Куда это мы едем?

— Не могу знать.

Стёкла кареты покрыты были морозным узором. Достоевский ногтем стал соскребать иней и дышать на стекло. Приникнув к оттаявшему глазку, он различал знакомые места. Вот они переехали Неву, вот теперь едут по Воскресенскому проспекту... В самом деле, куда это их везут? Зачем эти чулки? Карета свернула в Кирочную, потом на Знаменскую...

Небо быстро светлело. Над крышами домов поднимались столбы густого дыма только что затопленных печей. Народ шёл с рынков. Вот Лиговский, вот Обводный канал. Они свернули направо, немного проехали и встали.

— Выходи!

Их привезли на Семёновский плац — обширную площадь перед казармами лейб-гвардии Семёновского полка. Масса войск — пеших и конных, выстроенных четырехугольником, каре, чернела посреди заснеженной площади. Утро было холодное, ясное, тихое. Огромный красный шар солнца висел низко над землёй в морозном тумане.

Кто-то рядом сказал:

— Вот туда ступайте.

Он сделал несколько шагов вперёд и увидел вдалеке, за рядами войск, странную постройку — помост, обтянутый чёрной тканью, и перед помостом три врытых в землю столба... Эшафот!.. Значит — казнь?..

Возле прибывших карет столпились несколько человек в штатском. Они!.. Петрашевский, Спешнев, Филиппов, Плещеев, Момбелли... Лица бледные, худые, измученные, многие обросли бородой. Он побежал к ним, спотыкаясь. Вот так встреча! Все говорили разом, обнимались, смеялись.

Подскакал усатый генерал и зычно крикнул:

— Теперь нечего прощаться!

На него взглянули с недоумением: почему — прощаться?

— Становите их, — приказал генерал.

Явился чиновник со списком в руках и начал выкликать каждого по фамилии. Впереди был поставлен Петрашевский, за ним Спешнев, потом Момбелли — всего двадцать три человека. Подошёл священник с крестом в руке и, став перед ними, возгласил:

— Сегодня вы услышите справедливое решение вашего дела. Последуйте за мной!

Священник, неся перед собой крест, пошёл вдоль рядов войск. Они гуськом, прямо по глубокому снегу, двинулись за ним. На ходу переговаривались:

— Что будут делать?

— Для чего ведут по снегу?

— Что за столбы у эшафота?

— Привязывать будут — военный суд, казнь расстрелянием...

— Неизвестно, что будет. Вероятно, всех на каторгу.

Процессия подошла к эшафоту. Их взвели на помост. Следом поднялись солдаты и стали за спинами. Раздалась команда:

— На кара-ул!

Блеснули взметнувшиеся вверх штыки.

— Шапки долой! — приказал офицер. — Снять шапки! Будут конфирмацию[1] читать!

На эшафот взошёл чиновник. Становясь против каждого из осуждённых, он читал изложение вины и приговор. Читал быстро и невнятно.

— ...Отставного инженер-поручика Фёдора Достоевского двадцати семи лет... преступных замыслах, за распространение частного письма, наполненного дерзкими

[1] конфирма́ция — судебное решение, приговор, утверждённый властью

выражениями против православной церкви и верховной власти...

Стоять на морозе неподвижно было холодно, коченели руки и ноги. Старая изношенная шинель — даром что на вате — грела плохо. Его бил озноб.

— ...За покушение к распространению... сочинений против правительства... на основании Свода Военных поставлений... и подвергнуть смертной казни расстрелянием...

Значит — смерть?.. Но как же?.. Как в них станут стрелять? Посреди площади? На виду у всех?.. В эту первую минуту приговор скорее изумил, чем испугал его.

— ...И девятнадцатого сего декабря, — выкрикивал охрипший уже чиновник, — государь император на приговоре собственноручно написать соизволил: «Быть посему».

По площади покатилась гулкая барабанная дробь. На помост поднялся священник — тот самый, что привёл их сюда.

— Братья! Перед смертью надо покáяться[1]... Кающемуся спаситель прощает грехи... Я призываю вас к исповеди...

Никто не отозвался. Священник, растерявшись, повторил свой призыв. Снова молчание. Нет, преступники не желали каяться...

«Мы, петрашевцы, — рассказывал впоследствии Достоевский, — стояли на эшафоте и выслушивали приговор без малейшего раскаяния. Без сомнения, я не могу свидетельствовать обо всех, но думаю, что не ошибусь, сказав, что тогда, в ту минуту, если не всякий, то, по крайней мере, чрезвычайное большинство из нас сочло бы за бесчестье отречься от своих убеждений... Нет, мы не были буянами[2] даже, может быть, не были дурными молодыми людьми. Приговор смертной казни расстрелянием, прочтённый нам всем предварительно, прочтён был вовсе не в шутку; почти все приговоренные были уверены, что он будет исполнен, и вынесли, по крайней мере, десять ужасных, безмерно-страшных минут ожидания смерти. В эти последние минуты некоторые из нас (я знаю положительно), инстинктивно углубляясь в себя и проверяя мгновенно всю свою, столь юную ещё

[1] покáяться — nožēlot grēkus

[2] буян — скандалист

жизнь, — может быть, и раскаивались в иных тяжёлых делах своих (из тех, которые у каждого человека всю жизнь лежат втайне на совести); но то дело, за которое нас осудили, те понятия, которые владели нашим духом, — представлялись нам не только не требующими раскаяния, но даже чем-то нас очищающим, мученичеством, за которое многое нам простится!..»

Принесли длинные белые балахоны с капюшонами — одеяние смертников — и стали их обряжáть[1]. Это походило на дикий маскарад: белые фигуры с рукавами, болтавшимися до земли, как у Пьеро. Раздался громкий смех Петрашевского:

— Господа!.. Хороши мы в этих нарядах!..

Солдаты взяли под руки Петрашевского, Григорьева и Момбелли и свели их с эшафота. Их поставили возле врытых в землю столбов, длинными рукавами стянули за спиною руки и стали привязывать верёвками.

В числе следующих трёх должны были идти Дуров, Плещеев и он, Достоевский. Значит — сейчас смерть. Он обнял Дурова, обнял и поцеловал Плещеева...

Три взвода солдат, чётко маршируя, подошли и остановились против столбов. Офицер скомандовал:

— К заряду!

Перед глазами встали разом, мешаясь и тесня друг друга, множество лиц и картин. Он видел Даровое, видел затуманенные печалью глаза Панаевой, видел какую-то кривую ревельскую улочку, где бродили они с братом Мишей в ту весну — после «Бедных людей»... А вот он уже стоит на пароходе и брат машет ему с берега, всё разрастается полоса воды между ними, уже не вернуться, не перешагнуть, не доплыть... «Что, если бы не умирать! Что, если бы воротить жизнь!.. Какая бесконечность!..»

Лязгнули ружейные затворы.

— Колпаки надвинуть на глаза!

Но Петрашевский, мотнув головой, сбрасывает дурацкий капюшон:

— Я хочу смотреть смерти в лицо!

И снова команда:

— На прицел!

Солдаты наводят ружья на белые фигуры у столбов. Сейчас...

[1] обряжáть (*разг.*) — ietērpt

Над площадью тишина. Достоевский упорно, не отрываясь, глядит на сверкающий на солнце купол полковой церкви. Ему почему-то невозможно отвернуться от этих ужасно сверкающих солнечных лучей. Он весь поглощён созерцанием этого режущего света. Ему начинает казаться, что сияющие лучи каким-то образом сродни ему самому. Сейчас, через какую-нибудь минуту, он, пожалуй, сольётся с ними — и тогда...

Но время остановилось. Замерли солдаты. Замерла команда «Пли!» на устах офицера. Тишина. Только колотится сердце...

И вдруг снова несётся раскат барабанной дроби. Что это? Солдаты опускают ружья.

Петрашевского, Григорьева и Момбелли отвязывают от столбов. Вот они подымаются на эшафот. В руках у генерала, распоряжающегося казнью, какая-то бумага. Кто-то говорит:

— Помилование.

Дуров, стоящий рядом с Достоевским, дерзко кричит:

— Кто просил?

Петрашевский встряхивает гривой волос и бросает в адрес царя:

— Вечно со своими неуместными экспромтами.

Достоевский чувствует страшную усталость, которая придавила поднимающееся в душе торжество: «Значит, не посмели расстрелять!»

Аудитор читает новый — уже настоящий — приговор:

— ...Отставного инженер-поручика Фёдора Достоевского... в каторжную работу в крепостях на четыре года, а потом в рядовые.

Вдруг припомнилось, как отец кричал на него, мальчишку: «Уймись, Федя! Попадёшь ты под кра̀сную ша̀пку[1]!» Вот и в самом деле попал.

На помост поднимаются двое палачей в каких-то прадедовских кафтанах. Осуждённых на каторгу и в солдаты ставят на колени и у каждого над головой переламывают заранее подпиленную шпагу — в знак лишения дворянских прав. Потом приносят арестантские шапки, овчинные тулупы и сапоги. Тулупы разрешено надеть, а сапоги велено держать в руках.

Являются кузнецы. На доски эшафота с грохотом падают железные кандалы. Петрашевского приказано от-

[1] попа́сть под кра́сную ша́пку — попасть в солдаты

править в Сибирь прямо с места казни. Его стали заковывать. Кузнецы, надев ему на ноги железные кольца, принялись заклёпывать[1] гвозди. Петрашевский взял тяжёлый молоток у одного из них, сел на помост и стал заковывать себя сам.

К эшафоту подъехала кибитка, запряжённая курьерской тройкой, из неё выскочили фельдъегерь и жандарм. Усатый генерал указал на Петрашевского.

— Я ещё не окончил все дела, — спокойно сказал Петрашевский.

Генерал опешил:

— Какие у вас ещё дела?

— Я хочу проститься с моими товарищами.

— Это вы можете сделать.

С трудом ступая в тяжёлых кандалах, Петрашевский подходил к каждому и каждого целовал на разлуку.

— Это драгоценное ожерéлье[2], — сказал он, указывая на свои кандалы, — которые выработала нам мудрость Запада, дух века, всюду проникающий, а надела на нас торжественно любовь к человечеству...

Он низко поклонился всем, сошёл, гремя цепями, с эшафота и сел в кибитку. Через минуту она скрылась из глаз.

Остальным осуждённым объявили, что их покуда отвезут обратно в крепость.

«Я НЕ ПОТЕРЯЮ НАДЕЖДУ!»

Едва вернувшись в свою камеру, Достоевский сел писать письмо Михаилу. Душа была полна всем пережитым в это утро.

«22 декабря 1849 г.

Брат, любезный друг мой! всё решено! Я приговорен к 4-х летним работам в крепости (кажется, Оренбургской) и потом в рядовые. Сегодня, 22 декабря, нас отвезли на Семёновский плац. Там всем нам прочли смертный приговор, дали приложиться к кресту, переломили над головами шпаги и устроили наш предсмертный туалет (белые рубахи). Затем троих поставили к столбу для исполнения казни. Вызывали по трое, следовательно,

[1] заклёпывать — kniedēt

[2] ожерéлье — kaklarota

я был во второй очереди, и жить мне оставалось не более минуты. Я вспомнил тебя, брат, всех твоих; в последнюю минуту ты, только один ты, был в уме моём, я тут только узнал, как люблю тебя, брат мой милый! Я успел тоже обнять Плещеева, Дурова, которые были возле, и проститься с ними. Наконец, ударили отбой, привязанных к столбу привели назад и нам прочли, что его императорское величество дарует нам жизнь. Затем последовали настоящие приговоры. Один Пальм прощен, его тем же чином в армию.

Сейчас мне сказали, любезный брат, что нам сегодня или завтра отправляться в поход. Я просил видеться с тобою. Но мне сказали, что это невозможно; могу только я тебе написать это письмо, по которому поторопись и ты дать мне поскорее отзыв. Я боюсь, что тебе был как-нибудь известен наш приговор (к смерти). Из окон кареты, когда везли на Семёновский плац, я видел бездну народа; может быть, весть прошла и до тебя, и ты страдал за меня. Теперь тебе будет легче за меня. Брат! Я не уны́л[1] и не пал ду́хом[2]. Жизнь везде жизнь, жизнь в нас самих, а не во внешнем. Подле меня будут люди и быть *человеком* между людьми и остаться им навсегда, в каких бы то ни было несчастьях не уныть и не пасть — вот в чём жизнь, в чём задача её. Я сознал это. Эта идея вошла в плоть и кровь мою. Да! правда! Та голова, которая создавала, жила высшею жизнью искусства, которая сознала и свыклась с высшими потребностями духа, та голова уже срезана с плеч моих. Осталась память и образы, созданные и ещё не воплощённые мной. Они изъязвя́т[3] меня, правда! Но во мне осталось сердце и та же плоть и кровь, которая также может и любить, и страдать, и жалеть, и помнить, а это всё-таки жизнь. On voit le soleil. Ну, прощай, брат! Обо мне не тужи!..

Целуй жену свою и детей. Напоминай им обо мне; сделай так, чтобы они меня не забывали. Может быть, когда-нибудь увидимся мы?! Брат, береги себя и семью, живи тихо и предвиденно. Думай о будущем детей твоих... Живи положительно. Никогда ещё таких обильных и здоровых запасов духовной жизни не кипело во мне,

[1] уны́ть (*уст.*) — noskumt

[2] не па́дать ду́хом — nezaudēt dūšu (drosmi)

[3] изъязви́ть — plosīt

как теперь. Но вынесет ли тело: не знаю. Я отправляюсь нездоровый, у меня золотýха[1]. Но авось либо! Брат, я уже переиспытал столько в жизни, что теперь меня мало что устрашит. Будь, что будет! При первой возможности уведомлю тебя о себе. Скажи Майковым мой прощальный и последний привет. Скажи, что я их всех благодарю за их постоянное участие к моей судьбе. Скажи несколько слов, как можно более тёплых, что тебе самому сердце скажет, за меня Евгении Петровне. Я ей желаю много счастья и с благородным уважением всегда буду помнить о ней. Пожми руку Николаю Аполлоновичу и Аполлону Майкову, а затем и всем. Отыщи Яновского. Пожми ему руку, поблагодари его. Наконец, всем, кто обо мне не забыл. А кто забыл, напомни. Поцелуй брата Колю. Напиши письмо брату Андрею и уведомь его обо мне. Напиши дяде и тётке... Напиши сестрам: им желаю счастья!

А может быть, и увидимся, брат. Береги себя, доживи, ради бога, до свидания со мной. Авось когда-нибудь обнимем друг друга и вспомним наше молодое, наше прежнее, золотое время, нашу молодость и надежды наши, которые я в это мгновенье вырываю из сердца моего с кровью и хороню их.

Неужели никогда я не возьму пера в руки? Я думаю через 4 года будет возможность. Я перешлю тебе всё, что напишу, если что-нибудь напишу. Боже мой! Сколько образов, выжитых, созданных мною вновь, погибнет, угаснет в моей голове или отравой в крови разольётся! Да, если нельзя будет писать, я погибну. Лучше пятнадцать лет заключения и перо в руках!..

Но не тужи́[2], ради бога, не тужи обо мне! Знай, что я не уныл, помни, что надежда меня не покинула. Через четыре года будет облегчение судьбы. Я буду рядовой — это уже не арестант, и имей в виду, что когда-нибудь я тебя обниму. Ведь был же я сегодня у смерти три четверти часа, прожил с этой мыслию, был у последнего мгновения и теперь ещё раз живу!..

Что-то ты делаешь? Что-то ты думал сегодня? Знаешь ли ты об нас? Как сегодня было холодно!

Ах, кабы моё письмо поскорее дошло до тебя. Иначе я месяца четыре буду без вести об тебе. Я видел пакет,

[1] золотýха — разновидность аллергии

[2] тужи́ть — bēdāties

в которых ты присылал в последние два месяца деньги; адрес был написан твоей рукой, и я радовался, что ты был здоров.

Как оглянусь на прошлое, да подумаю, сколько даром потрачено времени, сколько его пропало в заблуждениях, в ошибках, в праздности, в неуменье жить; как не дорожил я им, сколько раз я грешил против сердца моего и духа, — так кровью обливается сердце моё. Жизнь — дар, жизнь — счастье, каждая минута могла быть веком счастья. Si jeunesse savait. Теперь, переменяя жизнь, перерождаюсь в новую форму. Брат! Клянусь тебе, что я не потеряю надежду и сохраню дух мой и сердце в чистоте...

Прощай, прощай, брат! Когда-то я тебе ещё напишу! Получишь от меня сколько возможно подробнейший отчёт о моём путешествии. Кабы только сохранить здоровье, а там и всё хорошо!

Ну, прощай, прощай, брат! Крепко обнимаю тебя, крепко целую. Помни меня без боли в сердце. Не печалься, пожалуйста, не печалься обо мне! В следующем же письме напишу тебе, каково мне жить. Помни же, что я говорил тебе: рассчитай свою жизнь, не трать её, устрой свою судьбу, думай о детях. — Ох, когда бы, когда бы тебя увидать!..»

Между тем Михаил Михайлович, одержимый столь же отчаянным желанием видеть брата, бегал по начальству и умолял о дозволении свидания. Прямого запрещения от царя допустить свидание осуждённых с родственниками не было. Но не было также и разрешения. В конце концов, комендант Петропавловской крепости генерал Набоков махнул рукой и позволил.

Вечером 24 декабря Михаил Михайлович явился к дежурному плац-майору. Его провели в большую комнату в первом этаже комендантского дома и велели подождать. Прошло около получаса. Наконец дверь отворилась, за нею брякнули ружейные приклады — и в сопровождении офицера вошёл Фёдор Михайлович. На нём было дорожное арестантское платье — полушубок и валенки.

— Брат!

Они обнялись. Старший чуть не плакал. Младший был спокоен. Фёдор первым делом стал расспрашивать Михаила, как перенёс тот своё заключение, о жене, о детях, об их здоровье и занятиях.

— Пиши ко мне чаще, — просил Фёдор Михайлович, — распространяйся в каждом письме о семейных подробностях, не забудь этого — это даст мне надежду на жизнь. Если б ты знал, как оживляли меня здесь, в каземате, твои письма!..

В глазах у Михаила стояли слёзы, губы его дрожали. Фёдор утешал его:

— Перестань, брат! Ты знаешь меня, не в гроб же я уйду, не в могилу провожаешь. И в каторге не звери, а люди... Да мы ещё увидимся, я надеюсь на это, — я даже не сомневаюсь, что увидимся...

Зазвонили колокольчики на крепостных часах. Вошедший плац-майор объявил, что время расстаться.

Достоевского, а вместе с ним Дурова и Ястржембского, которых тоже в эту ночь увозили в Сибирь, повели заковывать в кандалы. Их посадили в открытые сани — каждого отдельно, с жандармом, — а на передних санях поместился фельдъегерь. Когда миновали ворота крепости, Достоевский увидел Михаила, махавшего им рукой.

— Прощайте!

— До свидания!

Их везли по ночному городу. Был сочельник[1], и многие дома были празднично освещены. Достоевский мысленно прощался со знакомыми улицами и домами. Вот и застава — впереди снежная дорога в несколько тысяч вёрст...

Пройдут ещё долгие десять лет, прежде чем Фёдор Достоевский вернётся в Петербург и напишет свои великие произведения, принёсшие ему мировую славу.

ЛЕОНИД МАРТЫНОВ

БАЛЛАДА О ФЁДОРЕ ДОСТОЕВСКОМ

Невский
Остаётся просто Невским,
Отвергая переименованья —
Достоевский
Остаётся Достоевским,
Отвергая перетолкованья.

[1] сочельник — церковный праздник, канун рождества

Быть бессмертным
Тяжкая повинность!
Бытие мыслителя — один из
Самых фантастических романов:
— Расскажите, милый
Валиха̀нов[1], —
Попросил Чокана
Достоевский, —
Что теперь творится в
Петербурге?
И сказал Чокан, на запад глянув:
— Друг мой,
Невский остаётся Невским,
Как и Достоевский
Достоевским,
Даже если загнан к чёрту
в ту́рки[2]!
Впрочем, был ли сей ответ столь
резким?
Мне проконсультироваться
не с кем —
Так ли точно средь степных
курганов
Выразился славный Валиханов.
Но ведь Невский
Остаётся Невским,
Как и Достоевский
Достоевским,
Точно так же, как и Валиханов,
Хоть и много разных великанов,
И живых и всяких истуканов
За сто лет
Исчезло,
В Лету
Ка̀нув[3]!

[1] Валиха́нов Чокан Чингисович (1835—1863), казахский просветитель-демократ, путешественник, этнограф, фольклорист, исследователь истории и культуры народов Средней Азии, Казахстана, Китая.

[2] за́гнан к чёрту (в турки) — очень далеко

[3] ка́нуть в Ле́ту — пропасть безвозвратно, уйти навсегда.

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ

ВАЛЕРИАН ЗАХАРЖЕВСКИЙ

НА ЧЕТВЁРТОМ БАСТИОНЕ

(Рассказ)

Каждый раз, особенно в последнее время, поднявшись на четвёртый бастион, подпоручик артиллерии граф Лев Николаевич Толстой испытывал тяжёлое чувство.

Земля, изрытая бомбами, корабельные орудия, измученные лица моряков, рассказывающих, что вот в эту ночь убито девять и ранено пятнадцать, порождали настроение виноватости, ужас не только перед зрелищем разрушения жизни, но и перед собственным сознанием того, что он, офицер Толстой, и другие военные привычно спокойно и равнодушно смотрят на невыносимое и бесчеловечное.

Четвёртый бастион был самым опасным местом в Севастополе, так как находился под перекрёстным огнём неприятельских батарей.

Уже вечерело. Тяжкие удары пушек изредка оскорбительно нарушали весеннюю тишину, застывшую над холмами и тёмно-розовым морем.

Матрос Илларион Тальников, маленький, с седоватыми бакенами, подошёл к Толстому, постоял, глядя на море, и вздохнул.

— Да, вашблагрóдь[1], вот и солнышко село за море, на покой, значит. Всему нужен покой — и человеку, и птице, и дереву, и солнцу.

[1] вашблагрóдь (*разг.*) — ваше благородие

И, подумав, добавил:

— Вот и в церкви поётся: свете тихий, святые славы... Без покоя и тихости — как жить?

Толстой посмотрел на Тальникова. У него были те особенные кроткие и задумчивые глаза, которые бывают у стареющих крестьян, много и тяжело поработавших в жизни. На груди матросской куртки поблескивало два георгиевских креста — за Синóпский бой и вы́лазку[1].

— Отдохнём, Тальников, дай прогнать этих гостей.

— Оно, конечно, отдохнём. Хóча[2] в нашей крестьянской жизни — какой уж отдых! В могиле разве. Известно — крéпость[3].

В эту минуту со скрежетом и воем высоко в золотистом небе пролетела Конгрéвова ракéта[4] и грохнул взрыв где-то на Сéверной стороне́[5]. Вслед за этим французская батарея послала три бомбы.

Матросы стояли у своих орудий, поглядывая на дежурного офицера. Тальников не спускал глаз с дорожки, по которой шли на бастион солдаты с носилками и «вольные»; он улыбнулся, когда увидел дочку Марфутку, несущую ему ужин в красном узелке. За ней шли два офицера.

Тальников доложил Толстому:

— Там, вашблагродь, офицеры идут чужие.

Толстой оглянулся и узнал обоих офицеров: сухопарый — барон фон Тирбих Брюллинг Гольце и прапорщик Волынский — сонный толстяк, — оба из штаба.

— Ну, как у вас тут, граф? — спросил барон.

Толстой взял под козырёк.

— Ночью убито двое, ранено семь матросов. Снаряды доставлены вовремя.

И опустил руку.

— А-а, хорошо.

Толстой заметил:

— Жду обстрела.

И словно напророчил: одна за другой пролетели низко над бастионом бомбы. Барон крякнул и сьёжился. В это

[1] вы́лазка — šeit: uzbrukums

[2] хóча (*разг.*) — хотя

[3] крепостнóе прáво — dzimtbūšana

[4] Конгрéвова ракéта — ракета, названная по имени изобретателя, английского конструктора Уильяна Конгрева (1772—1828).

[5] Сéверная сторонá — район обороны Севастополя

же время ядро ударило в бруствер и засыпало бастион комками мокрой после утреннего дождя земли. Барон втянул шею в плечи и присел на корточки, смертельно побледнев.

Толстой невольно улыбнулся.

— Маркéла![1] — крикнул дозорный матрос.

Барон на четвереньках поспешно пополз к выходу и, пытаясь стереть грязь со щеки, размазал её по виску и лбу. Мортирная бомба грохнула вдали от бастиона. Тальников подбежал к барону и хотел помочь ему встать. И точно извинялся:

— Вот как у нас тут...

Барон с трудом двигал языком:

— Да, да...

Толстой молча разглядывал в подзорную трубу чёткий контур насыпи, за которой залегал противник.

Барон счищал платком грязь с лица.

Тальников участливо посоветовал:

— Ежели бонба, то надоть не к выходу бежать, а в ямку лечь, что у брустера, там защитно.

— Знаю, дурак, не лезь, когда не спрашивают.

— Простите, вашбродь, я только так, вижу — непривычные вы...

Толстой живо оглянулся на барона.

— Матрос прав, барон, выход с бастиона не укрыт как следует и... il ne faut pas etre trop brave![2]

В светски-спокойном тоне графа Толстого барон почувствовал иронию, от чего внезапно впал в ту бешеную злобу, которая становилась невыносимой и судорожно искала выхода.

Тальников вздохнул:

— Наш бастион особливый, сколько тут страху натерпелись...

Барон в ярости обернулся к нему и ударил кулаком по зубам.

Матрос глухо застонал.

— Ай!.. — тонко вскрикнула Марфутка, роняя узелок с горшочком.

Толстой спрыгнул со ступеньки амбразуры и, широко расставив руки, двинулся к барону.

— Бить матроса! Бить человека!

[1] мортúрная бомба

[2] не слéдует бравúровать (*фр.*)

Барон видел медвежьи глаза графа, сверкающие под низко посаженными бровями, и в ужасе думал, слабея: «Задушит! Убьёт!»

Увернувшись от расставленных рук Толстого, барон бросился к выходу. Прапорщик Волынский за ним.

Тальников держался за челюсть и раскачивался всем телом. Марфутка плакала и собирала кашу, выпавшую из разбитого горшочка. Толстой, смертельно бледный, напряжённо усмехнулся.

— Убежал!.. А ты, Тальников, забудь про это! Бывают же такие люди.

Тальников тихо вымолвил:

— Марфутку обидел...

Толстой живо обернулся к девочке.

— Не плачь, Марфуша, не плачь, храбрая девочка. Что ты принесла тятьке?

— Кашу и пирог с горохом.

Увидев на щеке Тальникова слезу, Толстой быстро прошёл к амбразуре и взялся на подзорную трубу.

*

Лейтенант флота Андрей Германович Шубин крепко подружился с Толстым. Это была та настоящая дружба, при которой больше отрады одаривать друга, нежели получать от него.

Тёмно-серые глаза Толстого были пронзительны и, казалось, всматривались в собеседника, словно силясь разгадать его сокровенное. Но Шубина привлекла добрая и быстрая улыбка графа, его статная мускулистая фигура и мягкая грация движений. Позже Шубин понял и особенность толстовского взгляда. У Льва Николаевича с ранних лет сложилось убеждение, что люди всегда говорят неполную правду и, вольно или невольно, за высказанным всегда таится скрываемое. Но скрываемое надо угадать, тогда и познаётся человек.

— Вы недоверчивы, — говорил Шубин.

— Нет, просто человек — существо сложное и противоречивое, он и сам себя не понимает.

Однажды Толстой рассказал Шубину о поведении барона на бастионе. Шубин вспомнил:

— Когда я виделся в Лондоне с Александром Ивановичем Герценом, он говорил: «Наши русские маркизы не хотят понимать ни Робеспьера, ни Марата».

Толстой посмотрел на строгое красивое лицо друга и подумал, что у этого человека мысль всегда точна и тверда.

*

Прошёл май, за ним шёл к концу июнь; у всех севастопольцев было ожидание скорых и грозных событий. Пленные не скрывали, что союзники готовятся к решительным действиям.

Толстой наблюдал пленных. Французы, особенно раненые, легко впадали в отчаяние, иные плакали, восклицали:

— Oh, ma pauvre mere![1]

Но довольно скоро успокаивались, смеялись, балагурили и даже хвастали.

Англичане — рослые, краснощёкие, на подбор молодцы — были сумрачны, часто впадали в хандру́[2].

«А наши Тальниковы — измождённые, терпеливые, удивительные душевными проявлениями таких качеств, которыми гордится человечество: великодушие, правдивость, простота и мужество».

Шубин соглашался с Толстым.

— Ах, если бы такому народу да освобождение, да волю мыслям и действиям.

Толстой говорил:

— И знаете, что рассказывал мне капитан с третьего бастиона? Рота моряков чуть было не взбунтовалась, когда их хотели увести с бастиона на дорожные работы в Симферополь. Окончится война эта дикая, и большой и опасный будет грех, ежели наш народ не станет свободным.

*

Французы, потаённо работая тёмными ночами, выдвинули к четвёртому бастиону большой люне́т — апрош[3], и было приказано силами бастиона выбить противника из люнета. Атака была удачна, но минут через двадцать

[1] О, моя бедная мать! (*фр.*)

[2] хандра́ — grūtsirdība

[3] люне́т — апро́ш (*фр. воен. устар.*) — открытое полевое укрепление зигзагообразного вида

атакующие возвратились на бастион расстроенными рядами, неся раненых.

Лейтенант Вязмитинов с окровавленным лицом говорил Толстому, едва сдерживая стоны и бешенство:

— Даром кровь пролилась, даром — взяли люнет, а резерв нам не прислали, ну и отдали. О, проклятые головы в штабе! Я бы их...

Толстой услышал за спиной хриплый плач и обернулся. Два санитара укладывали на носилки Тальникова, у которого вместо левой ступни были окровавленные лохмотья. Один из санитаров накладывал на бедро турникет для остановки кровотечения.

Тальников, увидев Толстого, протянул к нему руки, и по-прежнему плача, говорил:

— Взяли мы эту люнету в один секунд, а он вскорости насел лезéрвой[1], а нам подмоги не прислали... Ну, мы и назад! Что же это такое? О господи!

И Тальников горестно закрыл лицо руками, тяжело качаясь.

Толстой с тоской и душевной болью говорил что-то Тальникову, и голос его дрожал виновато, словно это он, Толстой, был виновен, что не прислали помощи атакующим.

— Ну потерпи, милый, сейчас тебе будет легче!

— Да что легче! Сколько сил потеряли в той люнете! Сколько крови матросской пролилось! Да что же это?

Когда носилки с раненым поворачивали за угол бруствера, Толстой в последний раз увидел Тальникова: он обессиленно и прощально махал рукой.

Первые дни августа были тяжело знойны, бомбардировка притихла, и море замерло в штиле.

Однажды, проходя мимо госпиталя на Северной стороне, Толстой увидел Марфутку. Девочка показалась ему совсем маленькой.

— А тятя мой вчера померли. Тут и лежат в сарае, — сказала она.

И ещё хотела что-то сказать и не могла. Толстой взял девочку за руку.

— Пойдём, Марфутка, к тяте.

В сарае было темно, пахло лàданом[2]. На одном из столов, оббитых жестью, лежал Тальников, укрытый

[1] лезéрва (*разг.*) — резéрв

[2] лáдан — vīraks

простыней. В жёлтых, сложенных на груди руках горела тоненькая свечка, её огонёк дрожал, и на восковом лице покойника, преисполненном последними движениями жизни, играли тени.

Когда вышли из сарая, Толстой спросил:

— Где же ты сейчас живёшь, Марфутка, — у матушки?

— Не, матушка померли от тифа, я у тётки.

И она тихонько заплакала, стыдясь слёз.

*

27 августа в полдень начался штурм второго, третьего и пятого бастионов, а также Малахова кургана. Французы и англичане шли плотными колоннами и густо усеивали трупами и ранеными склоны холмов.

И вот настал день, когда наши войска по зыбкому мосту переходили через бухту на Северную сторону. Шубин стоял у въезда на мост и смотрел на это движение людей, орудий и повозок. Лица солдат и моряков были мрачны, они все оглядывались на город, затянутый дымом и пылью, глухо грозились и ругались, вспоминая генералов Остен-Сакена, Горчакова и Меньшикова.

— Пропала Россия, — говорил молодой матрос, срывая с головы фуражку и испуганно косясь на горящий город.

— Чего пропала? — спокойно заметил старик-егерь. — Почитай почти год стояли на бастионах, значит в нас — сила. Он бы не выстоял, куда ему! А ты говоришь — пропала Россия!

Шубин заметил Толстого, стоящего, как и он, у въезда на мост, и его удивило выражение лица Льва Николаевича: в нём был отблеск какой-то торжественной и радующей мысли.

— Лев Николаевич! Лев Николаевич! — кричал Шубин, протискиваясь к Толстому.

— А, Андрей Германович! Где были?

— Выводил людей с Малахова кургана; как хорошо, что встретил вас!

Они говорили об этих страшных днях, и Шубин всматривался в лицо Толстого. Что значило это почти радостное выражение на его лице? Спросить об этом он всё же не решился.

Потом, уже к заходу солнца, они шли в портовый посёлок. Толстой молчал, словно обдумывая что-то; Шубин прервал это молчание.

— Вот и проиграли войну.

Толстой живо обернулся, даже приостановился и, глядя на синий горизонт моря, где призрачно маячили неприятельские корабли, сказал:

— Проиграли? Так и скажут. Да нет же! Не сломлены души, воля наших моряков и солдат, а стало быть, они не побеждены. Об этом ещё и скажут, и напишут, античных героев вспомнят. Вот он, русский народ!

Толстой умолк, а с его лица не сходило то особое восторженное выражение, которое сразу заметил Шубин.

Пришла ночь — бархатная, тёмная, полная созвездий и непривычной тишины, ибо противник не стрелял.

Далеко за полночь Шубин и Толстой сидели на бревне под шелковицей[1], и Толстой говорил, словно сам с собой рассуждая:

— В эти страшные недели и месяцы я видел на лицах этих неказистых[2], скромнейших людей такую духовную силу, что о ней и не расскажешь. Умная она, тихая, сердечная. Эта сила, верно, нужна человечеству, чтобы стать ему иным, творящим добро, а значит и новую жизнь. Как хочу, чтобы меня на всю жизнь увлекла огромная мысль — утверждать основу новой религии: религии без слепой веры, без таинственности, которая объединит этих неказистых ради дарования людям счастья на земле. Это дело многих поколений, которые поверят в силу добра и человеческой совести. Как живём ныне — нельзя жить, стыдно!

— Об этом часто говорил мне и Герцен.

Толстой замолчал.

Шубин промолвил — больше для себя, нежели для собеседника:

— Давняя мечта человечества — Кампанéлла[3], Сен-Симóн[4]...

[1] шелковица — zīdkoks

[2] неказистый — neizskatīgs

[3] Кампанéлла Томазо (1568—1639) — итальянский философ, поэт, политический деятель, создатель коммунистической утопии.

[4] Сен-Симóн Клод Анри де Рувруа (1760—1825) — граф, французский мыслитель, социалист-утопист.

Толстой встрепенулся:

— Сен-Симон? Социализм? Но социализм только часть той основы, на которой сложится новая жизнь человека. Главное ведь — любовь, совесть и правда.

*

Прошло два года после падения Севастополя. Андрей Германович Шубин писал письмо из Кронштадта в далёкий Лондон — Александру Ивановичу Герцену. Заканчивая письмо, Шубин добавил:

«В трудные годы Севастопольской эпопеи я сблизился, вернее — сдружился на четвёртом бастионе с графом Львом Николаевичем Толстым. Толстой — человек, переживающий события своей жизни с особой страстностью мысли и чувств. Его будущее станет необыкновенным, если судьба будет к нему милостива. Таким людям нелегко жить. В Севастополе Толстой наблюдал наш народ и восторженно говорил, что этот народ одарён большой душой и способностью творить добро. Ему суждено быть источником и двигателем обновления человечества. Во имя этого нужно создать религию — без слепой веры в выдуманного бога, без таинственности, но проникнутую духом любви и правды, которая одна в мире, что бы ни говорили и ни делали люди. Я не спорил с Толстым, ибо меня подавляла его раскалённая вéра[1] в свою идею, воспринимаемую им непрекáемо[2]. Мне хотелось возразить, что любовь, добро, правда в нашей жизни не суть деятельные силы, ежели господство принадлежит деспотизму, злу и лжи, — и сперва их надо уничтожить. Но Толстой прав, что почин обновления человечества будет принадлежать народу нашему — духовному силачу, умному и ищущему правду.

Вот в чём радостно согласиться с Львом Толстым».

[1] раскалённая вéра — stingra pārliecība

[2] непрекáемо — neapšaubāmi

ГАЛИНА ЕЗЕРСКАЯ

ЯСНОПОЛЯНСКИЕ ЭТЮДЫ

(главы из книги)

ДРУЖБА

В Ясной Поляне лето. Шумливые группы людей у въезда, верени́цы[1] машин и — прохлада зелёных аллей на усадьбе. Здесь тихо, на зелёных дощечках — два слова: «Зона тишины».

Широкая, тенистая дорога к могиле Толстого. Слева тёмные дубы и липы, справа — ясное мерцание берёзовых стволов. Кажется, среди них всё время кто-то перебегает, улыбается, играет в прятки.

У поворота над дорогой нависает старая берёза, и сразу за ней — одинокий зелёный холмик. Одиноким он воспринимается только в первый миг, только глазами, а уже во второе мгновение осознаёшь его полнейшее единение с вечной и мудрой природой вокруг, и ощущение одиночества уходит.

Прохладная тишина утра пронизана косыми лучами солнца. Слышно, как опадает с листьев роса.

И вдруг я вижу: у могилы спиной ко мне стоит женщина. Я вижу косу, уложенную на затылке, модный тёмный костюм, узкие плечи. Они вздрагивают, и я понимаю, что женщина плачет.

У этой могилы плачут многие, но почему-то я не могу так просто повернуться и уйти и оставить её здесь одну — плакать.

Жду, молчу. Потом подхожу к ней, тихонько дотрагиваюсь до плеча. Она оборачивается и коротко взглядывает на меня светлыми от слёз глазами.

А потом мы идём с ней утренними зелёными аллеями, и она рассказывает о себе. Она преподаёт русский язык в Бухарестском университете.

— Я сейчас очень плохо говорю по-русски, — улыбается она милой, смущённой улыбкой, — но это потому, что впечатления наводни́ли мою ду́шу[2] и надо подождать, чтобы улеглись волны.

[1] верени́ца — virkne, rinda

[2] наводни́ть (*перен.*) — pārplūdināt

Через полчаса я провожаю её к автобусу, и, уже поднимаясь на подножку, она быстро пишет мне свой адрес и говорит хорошие, взволнованные слова. Я не должна забывать, что Ясная Поляна — одна для всего мира, что мы с ней говорили на одном языке и что теперь в Румынии у меня есть сестра — Юлиана...

Недавно я получила письмо. Она пишет, что занятия с аспирантами в этом году начала с произведений Толстого. И ещё:

«Если спросят меня, что есть самое ценное, самое дорогое в моей жизни, то отвечу, не задумываясь, — дружба. Нужно ли сказать, что теперь и вы принадлежите к числу моих очень хороших, очень близких друзей?» — пишет Юлиана, мой близкий друг из далёкой Румынии.

В ЗИМНИЙ ДЕНЬ

Чёрное кресло с высокой спинкой и блестящими велосипедными колёсами четверо мужчин осторожно поднимали по скрипящей деревянной лестнице. Мимо часов, через площадку, в раскрытые высокие двери зала. Женщина, сидящая в кресле-коляске, молча и, как мне показалось, равнодушно смотрела прямо перед собой. Её седая голова была совсем белой на чёрной кожаной спинке кресла.

Я не знала, кто она и откуда. Она поняла мой невысказанный вопрос. «Русский язык, пожалуйста, я понимаю русский», — произнесли её не очень послушные губы.

Я говорила медленно, простыми и понятными фразами. Так же медленно двигалось кресло, почти бесшумно перенося старую женщину из одной комнаты дома Толстого в другую.

За окнами морозный и солнечный декабрьский день. Дом свободен и тих. Временами я видела, что женщина перестаёт слушать, уходит в свои мысли, прислушиваясь к еле уловимому потрескиванию полови́ц[1]. Тогда я молча ждала её «возвращения». И, глядя сбоку на её серебряную голову, я вдруг ясно увидела перед собой в таком же кресле другого — кого до этого мига мне

[1] полови́ца — grīdas dēlis

никак не удавалось увидеть не «великим и гениальным Толстым», а просто — живым и старым человеком. Человеком, который живёт и знает, что жизнь скоро кончится и не будет ничего: ни работы, ни мысли, ни дорогих привязанностей, ни терпкого запаха палого листа, ни весенних прозрачных капелей, ни буйства цветущих, готовых улететь в воздух яблонь... Ничего.

А день был ярок и светел. Блестели, словно их перебирала невидимая рука, спицы колёс, в прохладной секретарской перед печкой тепло светились начищенные медные листы.

...Женщине этой шёл семьдесят восьмой год. Она — жена мелкого конторского служащего — почти десять лет собирала деньги на эту поездку, несколько лет упрямо изучала русский язык, чтобы в доме Толстого слушать его родную речь. Когда случилась беда и женщина оказалась прикованной к креслу, она сказала себе: «И всё равно я там буду». Она приехала из маленького провинциального городка Северной Америки.

Она говорила это, светло улыбаясь, но я-то видела, как измучена она дорогой и этими — пусть такими счастливыми — переживаниями. И как хватит сил у неё на обратный долгий путь? Мне хотелось сказать ей что-то ободряющее, но она улыбнулась вдруг добро и молодо и ответила мне на мои мысли:

— У меня теперь так много сил... Когда сбывается мечта, сил делается больше. Знаете, я много думала о жизни и поняла, что мы, многие, большинство живём неправильно: катимся, как вагончик по рельсам, накатанным, привычным... Куда жизнь ведёт, туда и идём. И боимся перемен. Вдруг — крушение? А бояться не надо. Надо так поворачивать свою жизнь, чтобы мечта не посмела пройти мимо тебя. Иначе жить плохо. А мне теперь и умирать будет легче...

Снова завертелись перед моими глазами спицы колёс, точно чья-то рука невидимо перебирала их, торопила, отсчитывая время.

БЕЛЫЙ ОСТРОВ

У меня есть значок: синий диск, а на нём белый остров, точно облако, летящее среди моря и неба. Это — Кипр.

До самого конца я не знала, кто он — гость Ясной Поляны, которому я показывала дом и усадьбу.

Иссúня-смýглый[1], он был, несомненно, южанин. Он неплохо говорил по-русски, при этом губы его складывались так, что было видно, как чужды им звуки русского языка. И акцент получался сильный и своеобразный.

В кабинете Толстого он долго стоял молча, потом подошёл к окну и, точно забывшись, смотрел и смотрел куда-то выше и дальше вершин старого елового «Прешпекта».

В библиотеке он пристально вглядывался в строй книжных корешкóв[2], разыскивая что-то, потом — то ли мне, то ли самому себе сказал:

— Толстой любил греческий...

— И даже видел по-гречески сны, — прибавила я.

Прощаясь со мной, он сказал:

— Я был на конгрессе славистов. Я — киприот.

— ...Патриот? — переспросила я, не расслышав.

— Киприот, — повторил он. — Но это есть одно и то же. Вы хорошо услышали. — Он помолчал. — Это моя страна. Мне будет приятно, если в Ясной Поляне вы будете носить этот значок.

Он улыбнулся и приколол к моему платью кусочек своего моря и неба с белым летящим облаком посредине.

ПАЛОМНИК[3]

Был конец ноября, и земля ждала снега. По-зимнему берёзы светили стволами, и графически чёток был рисунок их тонких, поникших веток. Под ногами уже не слышалось прощального шёпота листьев, они отшелестели своё и, прибитые дождями, лежали молча и тоже ждали снега.

Мой молчаливый спутник, японец, известный переводчик Толстого, шёл всё время чуть впереди, и я старалась незаметно для него отставать, понимая, что здесь ему не нужен никто. Мы подошли к могиле Толстого.

[1] иссúня-смýглый — zilgani melnīgsnējs

[2] корешóк — здесь: переплёт, [grāmatas] mugura

[3] палóмник — svētceļotājs

Я встала в стороне, прислонясь к шершáвому[1] стволу липы.

А он постоял немного около могилы и вдруг, точно сломавшись под прямым углом, упал на колени. Он стал совсем маленьким, узкая чёрная спина едва возвышалась над острыми вершинками крохотных ёлочек, которыми был обсажен склон оврага. Прямо перед ним лежала могила Толстого с белыми, последними, хризантемами у изголовья.

Он долго стоял так, и вокруг было совсем тихо, а потом я услышала в аллее шум, какой бывает от не очень слаженного движения многих пар ног. Ещё немного и стали различимы приглушённые ребячьи голоса. Впереди шла пионервожатая, совсем ещё девочка. Они подошли достаточно близко и теперь, как и я, видели эту одинокую чёрную фигуру, стоящую на коленях.

Вожатая остановилась, точно в нерешительности, потом повела рукой в сторону ребят, и они примолкли и остановились. Ещё мгновение — и все бесшумно исчезли в аллее.

Японец обернулся и посмотрел им вслед невидящими глазами.

«Какие они разные, — думала я. — И как хорошо, что она, эта девочка, которая, конечно же, никогда и ни перед кем не стояла на коленях, поняла, что ему необходимо побыть здесь одному и постоять на коленях. И как это нужно — не всё принимая, понимать всё».

НАЧАЛО

Мне никак не удавалось увидеть его, старый дом, в котором родился Толстой. И не потому, что этого дома давно нет — для внутреннего видения это не имеет значения.

Должно быть, мешало что-то или чего-то недоставало. Была только обширная пýстошь[2], и деревья по ней — вразбрóд[3], остановившиеся здесь от века. И напряжён-

[1] шершáвый — grumbu|ains

[2] пýстошь — neapdzīvota (neapbūvēta, tukša) vieta

[3] вразбрóд (*разг.*) — nekārtībā, juku jukām

ной струной в небо — высокая, прямая лиственница, та, «на вершине которой родился Толстой», стояла среди них и — молчала. И камень от фундамента того дома был просто камнем...

И вот, наконец, метель — три дня и три ночи. Белый рой снежинок обволок, закружил, приподнял и унёс с собой столетние липы и ясени и только лиственница — прямая и звонкая — была туго натянута между землёй и небом.

Я руками отодвинула снежные волны, и сквозь них проглянул сначала фундамент того старого дома, потом белая стена с круглыми колоннами и там, около лиственницы — белый угол дома, и окно во втором этаже слабо затеплилось огнём витой восковой свечи. Стена была полупрозрачной, точно сотканной из лёгких мятущихся снежинок, и в свете свечи уже ясно виделось что там, за этой стеной.

...Узкая угловая «маменькина комната» и в ней кожаный диван, на котором Толстой родился. На миг склонилось над ним снежно-белое лицо той, что дала ему жизнь и осветила её недолгим светом — до конца, и вот уже нет её — нигде — только узкий следок ноги в берёзовой аллее... А у окна любопытная вершинка молодой ещё лиственницы, точно вставшей на цыпочки, да так и замершей. И среди пляски снежинок что-то торжественное и тихое разлилось и осталось вокруг.

Это — Начало. Начало «яркого, нежного, поэтичного, любовного, таинственного детства» и Начало великой жизни по заповеди, начертанной им самим:

«Живи до веку и до вечера. Работай так, как будто будешь жить вечно, а поступай с людьми, как будто умрёшь сейчас».

«...как будто будешь жить вечно...»

И — всё равно — в Старом Заказе в конце дороги вырос на краю оврага могильный холмик. Значит — всё равно — конец?

Но метель не заметает могилы, и не снег на ней, а лепестки белых цветов.

И дорога к ней неподвластна метели, и не умирают и не обрываются живые, трепетные нити, протянутые от сердец, живущих сегодня.

Начало есть всему. Конца великому нет.

ВОЙНА

На исходе скупого декабрьского дня рабочая комната под сводами в Литературном музее так похожа на ту, в Доме Толстого... Вечереет, за окном вздрагивают от порывов неслышного ветра зя́бкие[1] ветки сирени. Мирно и буднично стоит та особая тишина, которая бывает в музее без людей.

Я бережно переворачиваю один за другим пожелтевшие листы ученических тетрадей. Мне кажется, я слышу, как окунается в чернильницу-непроливайку простая жёлтая ручка, как скрипит перо, спотыкаясь о грубую бумагу. Одна тетрадка сменяет другую. Идут день за днём сорок пять чёрных дней фашистской оккупации, фашистские сапоги шаг за шагом топчут землю Ясной Поляны.

Мария Ивановна и Сергей Иванович Щёголевы, хранители музея, пишут подробный дневник для всех тех, кто в будущем снова потянется сюда умом и сердцем.

«...Очень интересуются господа офицеры, где всё самое ценное... Узнав, что далеко, в Сибири, понимающе ухмыля́ются[2], выражают уверенность, что коммунисты продадут оттуда всё в Америку...»

Что ж, психология своя у каждого.

...Немецкий офицер-врач, лощёный[3], изысканный, на чистом французском языке с покровительственными, однако, нотками в голосе, признался: «Люблю Толстого, читаю с шести лет, а вот теперь я здесь». Словно по плечу Толстого похлопал.

Кто он здесь?

Нынешняя миссия его явно не смущает.

Несколько позже чёрный кожаный диван, на котором родился Толстой, тащили по его приказу вниз — культурному завоевателю надоела солдатская койка... Но в светлой берёзовой раме дверей, крестом — руки в при́толоку[4] — встала беленькая старушка, Мария Ивановна. и тоже по-французски принялась объяснять цивилизованному варвару, точно и сейчас он был шестилетним розовым младенцем, почему этот диван нельзя трогать.

[1] зя́бкий — salīgs

[2] ухмыля́ться — smīnēt, vīpsnāt

[3] лощёный (*перен. уст. разг.*) — švītīgs

[4] при́толока — (durvju) paloda

Рисковала жизнью, выслушала грязную ругань — при этом господин офицер перешёл на родной язык, но диван — диван, сидя на котором шила юная жена Толстого, на котором родились все его братья и дети, тот самый, что «стоял всегда в кабинете у деда и отца», остался на прежнем месте.

...Сквозь скрип пера по грубой бумаге я слышу испуганные голоса детей, спрятавшихся от бомбёжки в подвале дома Толстого.

Вижу, как рубят яснополянские деревья, как жгут их в изразцовых печах, там, надо мной, в залах Литературного музея, добывая тепло для раненых немцев. И из них же, яснополянских берёз, сбивают кресты для могил... И — уже совершенно ночным кошмаром — танк со свастикой около дома Толстого...

«...16 декабря... Первая экскурсия красноармейского отряда рапортует: выполнив боевое задание по разведке в эту ночь, наш отряд решил почтить память величайшего из русских писателей. Просим сотрудников музея показать дом и могилу Льва Толстого».

Оказывается, можно, читая пожелтевшие за сорок лет страницы, явственно услышать усталый, простуженный, но торжествующий голос, произносящий слова этого рапорта.

Я слушаю его и вместе с красноармейцами иду по дому, возвращённому России и человечеству.

Через десятилетия каждой группе — нашей, чужеземной ли — мы показывали горелый след на белых некрашеных полах в нижнем кабинете Толстого — след фашистского костра.

Просто так.

На всякий случай.

Для памяти.

ПАМЯТЬ

Тогда, в мой первый день, он повёл меня знакомиться с домом и усадьбой. Было много снега, «так много, хоть с трубы катайся», — сказала старенькая смотрительница тетя Маша. Синие сугробы подступали к самым окнам, а в комнатах теплились лампы, затенённые абажурами, оставляя в полумраке углы.

Было торжественно и таинственно, и я чувствовала всю серьёзность происходящего со мной.

Вот сейчас здесь начинается новая жизнь. Отныне — надолго — главное в ней этот дом.

Это было — посвящение.

Небольшого роста, горбатый, с маленькими острыми глазами на треугольном лице, директор музея Александр Иванович, был похож на умного заколдованного медведя из сказки.

...Через много лет на Кочаковском кладбище в июньский день, заполненный тревожным тугим ветром, под беглыми солнечными бликами, среди людей живых, но далёких и случайных, я вдруг встретилась с вами снова, Александр Иванович. С постамента вы смотрели, чуть улыбаясь, на кресты и памятники, под которыми Волконские, Толстые, Ергольская, Остен-Сакен...

Память о них вы берегли как добро, а теперь поселились здесь навсегда.

Мне вспомнилась тогда ваша любимая при́тча[1] о каменотёсах, которые, занимаясь одинаково тяжким делом, так по-разному ответили на один и тот же вопрос:

— Что ты делаешь, добрый человек?

Первый был хмур и зол:

— Ты что, не видишь сам? — обтёсываю этот проклятый камень.

— Зарабатываю на хлеб себе и своей семье, — трезво и скучно отозвался второй.

Зато третий — третий всегда мудр и прав! — ответствовал:

— Что я делаю, добрый человек? О, я делаю великое дело — я строю памятник себе и своему времени.

И другие слова прозвучали мне тогда:

«Много знаний разных, но одно важнее и достойнее всех — знание того, как жить».

Это слова Толстого, но там о них мне напомнили вы.

Вы знали, как жить, знали, как вести Ясную, ставшую музеем, но по-прежнему полную противоречий и беспокойства. Вы знали, как обтёсывать камень.

...Маленькая дочка спросила меня однажды:

— Куда уходят дни, которые проходят?

[1] при́тча — līdzība

Никуда они не уходят. Потому что не могут уйти. Так и живут в памяти — дни и люди.

Должно быть, память и возвышает людей над всеми другими живыми существами. Способность помнить, и носить в себе, и не дать погаснуть.

Должно быть, потому люди и создают музеи, и пишут книги, и берегут памятники старины.

Чтобы не забывать.

«Ясная Поляна — это Россия. Россия — это жизнь. Вот почему нельзя не любить Ясную Поляну. Слава Ясной и её великому обитателю — нашей радости, нашей гордости. Спокойное небо, спокойные деревья, большая жизнь Льва Толстого — это жизнь русского народа. Ясная Поляна сейчас — не музей. Она — родина нашего сердца, нашего разума».

Это Виктор Шкловский. Такой он увидел, понял и унёс в своём сердце Ясную Поляну, которая одна для всего мира и которая — в то же время — своя, особенная, для каждого, кто прикоснулся к ней хоть однажды — полная жизни, дыхания, неповторимых черт, высоких и горестных мыслей о том, что во все времена волнует разум человека: об истине и о правде, о национальной святыне, о Родине, о жизни и смерти — о вечном для всего человечества и для каждого из нас...

Ясная Поляна — одна для всего мира.

Нет больше в мире — нигде — так счастливо сохранённого дома, деревьев и книг, которые были теми же при жизни великого человека.

Как-то английские писатели, увидев всё, что и ныне живёт в доме Толстого и на его усадьбе, сказали, что они по-доброму завидуют нам русским. «У нас тоже есть музей Шекспира в Стратфорде-на-Эвоне, и мы тоже говорим, что эти столы и скамьи — современники Шекспира...» И с грустной улыбкой, один из них: «Но как бы мы сами хотели в это верить...»

Удивительно родственна Толстому сама природа Ясной: в ней та же сдержанность и мудрость, раздумье, величие и простота.

У каждого в душе своя Ясная Поляна.

И этот дом с каменной террасой и комнатой под сводами, где родились величайшие произведения Толстого.

И это место с камнем от фундамента дома, где увидел свет он сам — маленький Лёвушка, ставший по словам Стасова «львом великим».

И эти тихие аллеи, где можно встретить сосредоточенного в глубокой задумчивости своей негра из Ганы и учёного из Мадраса, и медсестру из Норвегии, и маленьких детей, едва узнавших о трёх медведях и девочке Маше...

Каждый воспринимает это по-своему.

День минувший. День нынешний...

Чище, возвышеннее, освобождённее от повседневности выходит человек после встречи с Ясной, с Толстым. И каждый, в меру своего духовного богатства, уносит из Ясной Поляны что-то своё, окрашенное своей неповторимой индивидуальностью, но непременно — доброе и светлое.

Земной поклон благодарности тем, кто освободил Ясную от фашистских варваров, вернув её ясный свет всему миру.

«На передовой, в землянке на столике у лампы из сплю́щенного[1] снаряда лежала раскрытая книга «Война и мир». Эту книгу оставил недочитанной тот, кто ушёл в разведку или на поле боя... Ушёл и, может быть, не вернулся.

Будем «дочитывать» Толстого снова и снова. Это — спутник русского человека на пути к победе».

Так написали в книге отзывов музея солдаты Великой Отечественной. Им обязан мир тем, что Ясная Поляна по-прежнему есть на земле.

Только подумать: перед боем, перед разведкой, у смерти на краю — читать, перечитывать, «дочитывать» Толстого, носить его в заплечном мешке, куда положено только самое необходимое. Без чего — не прожить!

И живущим в дни мирные, как не читать, не дочитывать его, открывая всё новое — в нём, в себе, в жизни, во всём её великом и малом?

И никогда не отважиться вымолвить кощу́нственное[2]:
«Я про-читал Пушкина. Я про-читал Толстого».
Никогда.

[1] сплю́щенный — saspiests; plakans

[2] кощу́нственный — zaimojošs

ЯРОСЛАВ СМЕЛЯКОВ

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

Был дождь и снег апрельский сразу,
асфальт дымился и блистал,
когда я с жителем Кавказа
к Поляне Ясной подъезжал.

Меж елей, выстроенных строго,
от снега мокрого светла,
бесшумно двигаясь, дорога
вдоль дома барского вела.

Мы шли задумчиво впервые,
всё повидавши на веку,
к святому месту всей России,
как бы мальчишки к старику.

Его могила тут весною
стоит без близких и родных,
обёрнутая вечной хвоей,
среди подснежников живых.

Здесь тихо веет от могилы
средь чистоты и темноты
одною силой, только силой,
не признающей суеты.

Он ею мерился немного
лишь ради хватки удалой
и с философией, и с богом,
и даже с самою землёй.

ГРИГОРИЙ МЕДВЕДЕВ

БЕСПАЛОВ, ТОПТЫГИН И ЛЕВ ТОЛСТОЙ

Осмотрщик Беспалов и водитель Елкин на вездеходе районного энергоуправления делали контрольный объезд высоковольтной линии электропередач. Место было глухое и пересечённое. Кругом сопки, тайга. Сбились с дороги. Водитель и говорит:

— Сходи-ка, Беспалов, погляди, как лучше проехать.

Тот пошёл. Повернул за сопку, чтобы осмотреть лощи́ну[1]. Под ногами густая, сплетённая сеткой трава с маслянистым отблеском. Названия травы он не знал, зато кустики черники с ещё недозревшей ягодой узнал сразу.

Беспалов осмотрелся. По вершине сопки чинно взад и вперёд прохаживался кули́к[2]. Кругом было так тихо, что сбивчивое урчание мотора вездехода за поворотом слышалось довольно отчётливо, словно машина стояла рядом.

Из-за огромного валуна́[3] вышел большой бурый медведь, и они столкнулись нос к носу. От неожиданности медведь вспрянул на задние лапы и негромко угрожающе зарычал. Беспалов в первое мгновение обомле́л[4]. Бежать ему казалось бесполезным. На память вдруг пришёл рассказ Льва Толстого из «Родной речи». Там два товарища встретили в лесу медведя. Один испугался и влез на дерево, а другой упал, притворившись мёртвым. Медведь понюхал его и пошёл прочь. Мысль показалась настолько счастливой, что осмотрщик, не раздумывая, плю́хнулся[5] перед медведем, вцепился судорожно в густую сетку неизвестной ему, очень крепкой травы и замер.

Медведь стал обнюхивать его. Беспалов ощутил упругие струи воздуха из медвежьих ноздрей и подумал: «Как из шланга...»

Струи быстро проходили сверху вниз по спине и сильно щекотали. Беспалов радостно думал, что метод графа Толстого действует безотказно...

Медведь просунул лапу и несильно потянул, пытаясь перевернуть человека на спину. Острые когти, не проколов брезентовую ро́бу[6], больно надавили. Осмотрщик крепче прижался к земле. Сетчатая трава держала. Медведь стал обнюхивать голову. Из пасти его несло смра̀дом[7]. Затем медведь энергично лизнул от шеи к

[1] лощи́на — paleja
[2] кули́к — tilbīte
[3] валу́н — laukakmens
[4] обомле́ть (*разг.*) — pamirt, sastingt
[5] плю́хнуться (*прост.*) — упасть
[6] ро́ба — грубая рабочая одежда
[7] смрад — smaka

затылку. Беспалову стало больно, будто волосы выдрали. Несколько раз медведь сильно лизнул ухо и откусил его. Высоко вскидывая голову и широко открывая пасть ел ухо, как собака муху, очень похоже.

Беспалов ошалело подумал:

«Съел ухо... Вот тебе на...»

Он вскочил и заорал благи́м ма̀том[1]. Медведь испуганно вспрянул на задние лапы и зарычал. Беспалов бросился бежать к вездеходу, неистово вопя и уже не думая, что медведь догонит его. Медведь же бежал за ним довольно быстро, но не галопом, вполне, видимо, уверенный, что догонит. Водитель увидел бегущего товарища и рванул вездеход навстречу. Медведь ушёл в березняк...

Потерявший ухо Беспалов плакал и говорил, что так глупо, видно, один он на свете ухо потерял.

Водитель Елкин поначалу растерянно засуетился. Был он долговя́зый[2], с низким, каким-то вислым расплющенным задом. Шея длинная, а голова маленькая, белобрысая. От вида крови бледные его голубые глаза ещё больше побледнели и стали вроде плоскими.

— Давай пакет скорее! Че вы́лупился?![3] — заорал Беспалов. — Из-за тебя ухо потерял.

И снова завыл.

— Ухо, гадство, откусил! Сучий зверь!..

Елкин наконец пришёл в себя и, бинтуя Беспалову голову, сказал:

— Скажи спасибо, что кишки не выпотрошил...

Он с ужасом подумал, что, если бы сам пошёл смотреть дорогу...

Глаза у него потемнели, стали глубже и в них вдруг вспыхнули искорки.

— Был ты, Вася, Беспалов, теперь и Безухов стал... — Он не удержался и хихикнул.

— Я тебе дам «Безухов»!.. — пригрозил ему осмотрщик и поднёс к носу Елкина красный костистый кулак.

— Ты бы лучше топтыгину по сопатке энтим кулаком съездил... — огрызнулся Елкин.

— Гусак ты, вот кто!.. Быстро развёртывайся — и в медсанчасть!.. Назад, по следу.

[1] крича́ть благи́м ма́том (*прост.*) — kliegt pilnā kaklā

[2] долговя́зый (*разг.*) — garš, izstīdzējis

[3] вы́лупиться (*разг.*) — bolīt acis

Беспалов, огромный угловатый, атлетического сложения, ощущал в себе необычайный прилив злости и сил. Всего его, казалось, распирало, и он подумал: подвернись сейчас косолапый, он бы удавил гада собственными голыми руками.

Елкин газовал на пóлную катýшку[1]. Вездеход нёсся по сопкам и лощинам, как разъярённый зверь, вышвыривая из-под гусениц ошмётки[2] чёрного торфа. Лицо у водителя принимало то озабоченное и даже суровое выражение, то вдруг озарялось еле сдерживаемой улыбкой.

«Надо же! — думал он. — Медведь ухо оття́пал[3]. Нарочно не придумаешь».

Беспалов сидел, тупо уставившись перед собой, прислушиваясь к жгучей дергающей боли, и порой забывал, что правого уха у него уже нет. Потом вдруг спохватился и всего его обдавало тошнотной панической волной от сознания невосполнимости потери. Ком обиды подкатывал к горлу, слёзы сами наворачивались на глаза.

Через два часа бешеной гонки по пересечённой местности вездеход был уже в городе: звонко ля́згая[4] гусеницами по булыжнику, он подъехал к больнице и остановился, будто споткнулся.

— Осторожней не можешь? — буркнул Беспалов. — Гусак! Тебе верхом на козле в самый раз...

В приёмной «Скорой помощи» была только дежурная сестра.

— Что случилось? — спросила она взволнованно, увидев перевязанную голову Беспалова.

— Медведь ухо откусил... — сказал он как-то обречённо и в то же время с надеждой в голосе.

— Что-о?! — переспросила она и рассмеялась. — Какой медведь?

Елкин, который стоял за спиной товарища, стал разъяснять:

— Производственная травма, понимаете... На работе произошло. При обходе...

[1] на пóлную катýшку (*прост.*) — в полную силу

[2] ошмётка (*прост.*) — driskas

[3] оття́пать (*прост.*) — noraut

[4] ля́згая — žvadzinādams

— Где врач? — заорал Беспалов с затаённой надеждой в душе, что сейчас, сию же минуту, будет исправлено непоправимое.

— Вы на меня не кричите! — сказала сестра. Голос её задрожал. — Врач сейчас придёт.

Она позвонила в отделение и вызвала хирурга.

— Я должна записать... — сестра обиженно взялась за ручку. Спросив фамилию, что-то записала в журнал. Беспалов глянул через плечо и прочёл: «Больной поступил с травмой уха».

И снова ощутил прилив упрямой непонятной злости.

— Не с травмой уха, а медведь ухо откусил. Так и пиши.

Сестра многозначительно посмотрела на него.

— Какая вам разница, товарищ?

— А вот такая...

Пришёл хирург.

— Ну, что у нас! Та-ак... Что с ухом?.. Медведь откусил?..

Беспалов увидел, как по лицу доктора пробежала светлая волна, а глаза заискрились.

Обрабатывая рану, хирург приговаривал:

— Да-а... Ну и топтыгин! Чистенькая работа.

— А ничего нельзя сделать? — жалобно пробасил Беспалов.

— А что сделать? — уточнил хирург.

— Ну, с ухом...

— А где ухо-то?..

В ответ Беспалов с досадой махнул рукой и снова почувствовал, что ком обиды подкатил к горлу.

Ему сделали какие-то уколы, и хирург сказал:

— Я вас положу в своё отделение.

Беспалов взмолился.

— Доктор! Хочу домой! Жена у меня с ума сойдёт. Повидать надо.

Елкин оказался на месте.

— Я его, доктор, мигом на вездеходе. Домой и назад. Пусть повидаются.

— Ну, если только мигом... — согласился хирург.

— Та-ак... — сказал Беспалов Елкину, когда они вышли из процедурной. — Отвезёшь до дому. Только не до самого, а за квартал высадишь. Дворами пройду.

И при в гараж, я останусь до утра. В случае чего, «скорую» вызовем.

Уже сидя в кабине, ещё попросил:

— На работе пока не говори. Скажи — заболел, и всё.

— Ладно, — угрюмо пообещал Елкин.

Вот и дом. Поднялся Беспалов на третий этаж, остановился у двери, притих. А сердце колотится вот-вот из груди выскочит от волнения.

«— Да-а... — сказал он сам себе. — Обида-то какая...»

Наконец он собрался с духом и позвонил.

Жена открыла и отпрянула[1].

— Что с тобой, Вася?

— Да тише ты! Не выступай на всю ивановскую[2].

Жена, сильно бледная, прошла за ним в комнату. Сам же он, глядя на неё, будто заново испугался и сказал как-то виновато:

— Ничего особенного... Уха нет.

— Какого уха?! — воскликнула жена, широко открыв глаза. Краска бросилась ей в лицо, отчего её светлые волосы стали казаться ещё светлее.

— Какого... Моего. Правого. — Он почувствовал, что побледнел, и как-то спокойно отдал себя во власть запоздалого испуга и горя при родном человеке.

Жена бросилась к нему, стала судорожно щупать руками его голову, причитая:

— Ой! Вася-а-а!

Она прижала руки к груди и заплакала. Слёзы полились ручьями.

— Господи! За что такое наказание?! Здорового человека уха лишили-и!..

Вдруг запнулась.

— Стой! Как это?! Кто... ухо? Где ухо, где?!..

Беспалов вдруг весь успокоился и сказал:

— Сядем. Слухай...

И рассказал всё подробно.

Она сидела рядом с ним на диване и, широко открыв глаза, смотрела на него, потом вдруг быстро-быстро перекрестилась, бормоча:

[1] отпрянуть — atsprāga atpakaļ

[2] на всю ивановскую (*разг.*) — (kliegt) pilnā kaklā

— Слава те господи! Слава те господи!

Затем будто неожиданно что-то такое поняла и вновь запричитала:

— Да кто ж тебя, кабана, угораздил плюхаться перед ведмедем?! А?! Да бежать надо же было!.. Ноги в ру́ки[1], и скачками, а ты, урод, ухо подставил! На, мишка, лопай!.. Чтоб ты провалился, остолоп несчастный! Как я теперь с тобой, безухим, ходить-то буду?!..

— Так вот и будешь...

— А? Что?.. Да кто ж тебя, дурака, надоумил плюхаться перед ведмедем?!..

— Граф Толстой.

— Что-о-о?!

— Вот тебе и что...

Она неожиданно быстро успокоилась и спросила с издевкой в голосе:

— Это какой же, интересно, Толстой?.. Да ты его в жисть не читал, охломон несчастный!.. У нас его отро́дясь в дому не было...

Беспалов сидел и, часто моргая, смотрел на жену. Он думал со смущением, что и правда, кроме той запомнившейся сказки из «Родной речи», он Толстого вовсе не читал и что как-то это всё глупо вышло. И что с женой делать — не знал. А она вдруг снова заплакала, на этот раз тихо, села рядом и прижалась к нему.

— Я тебя, дурака, и такого, безухого, любить буду-у... Миленький ты мой ведмедь... Да ты вон какой бугай[2], сломал бы ему башку, этому ведмедю-у...

— Сломаешь, поди...

— Больно?

— Да так... Слегка... — соврал Беспалов.

Она утерлась рукавом и сказала:

— Посиди маненечко, я к соседке схожу...

Через десять минут она вернулась, неся в охапке двенадцать томов сочинений графа Толстого.

— А ну-ка, давай поглядим, где энтот твой рассказец. Хочу сама своими глазами прочесть.

Они стали смотреть содержание, но ни в одном томе этой истории про двух товарищей так и не нашли. Потом Беспалов взял томик, повертел в руках — загру-

[1] но́ги в ру́ки — (ņemt) kājas pār pleciem

[2] буга́й (*обл.*) — бык; здесь: здоровый, сильный

белых, привыкших к железу и совсем не привыкших к книге — и ощутил тёплую волну смущения перед самим собой и уважения к этому писателю, маленький рассказец которого, читанный ещё в детстве, удивил его на всю жизнь.

«Сколько накатал... Надо же!» — подумал он и открыл книгу.

— «Детство», — прочитал вслух. — Ладно, слышь, Маша, ты не относи. Почитаем всё же, а?..

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ

МАКСИМ ГОРЬКИЙ

А. П. ЧЕХОВ

Однажды он позвал меня к себе в деревню Кучук-Кой, где у него был маленький клочок земли и белый двухэтажный домик. Там, показывая мне своё «имение», он оживлённо заговорил:

— Если бы у меня было много денег, я устроил бы здесь санаторий для больных сельских учителей. Знаете, я выстроил бы этакое светлое здание — очень светлое, с большими окнами и с высокими потолками. У меня была бы прекрасная библиотека, разные музыкальные инструменты, пчельник, огород, фруктовый сад; можно бы читать лекции по агрономии, метеорологии, учителю нужно всё знать, батенька, всё!

Он вдруг замолчал, кашлянул, посмотрел на меня сбоку и улыбнулся своей мягкой, милой улыбкой, которая всегда так неотразимо влекла к нему и возбуждала особенное острое внимание к его словам.

— Вам скучно слушать мои фантазии? А я люблю говорить об этом. Если б вы знали, как необходим русской деревне хороший, умный, образованный учитель! У нас в России его необходимо поставить в какие-то особенные условия, и это нужно сделать скорее, если мы понимаем, что без широкого образования народа государство развалится, как дом, сложенный из плохо обожжённого кирпича! Учитель должен быть артист, художник, горячо влюблённый в своё дело, а у нас — это чернорабочий, плохо образованный человек, который идёт учить ребят в деревню с такой же охотой, с какой пошёл бы в ссылку. Он голоден, забит, запуган возмож-

ностью потерять кусок хлеба. А нужно, чтобы он был первым человеком в деревне, чтобы он мог ответить мужику на все его вопросы, чтобы мужики признавали в нём силу, достойную внимания и уважения, чтобы никто не смел орать на него... унижать его личность, как это делают у нас все: урядник, богатый лавочник, поп, станово́й[1], попечитель школы, старшина и тот чиновник, который носит звание инспектора школ, но заботится не о лучшей постановке образования, а только о тщательном исполнении циркуляров округа. Нелепо же платить гроши человеку, который призван воспитывать народ, — вы понимаете? — воспитывать народ! Нельзя же допускать, чтоб этот человек ходил в лохмотьях, дрожал от холода в сырых, дырявых школах, угорал, простужался, наживал себе к тридцати годам ларингит, ревматизм, туберкулёз... ведь это же стыдно нам! Наш учитель восемь, девять месяцев в году живёт, как отшельник, ему не с кем сказать слова, он тупеет в одиночестве, без книг, без развлечений. А созовёт он к себе товарищей — его обвинят в неблагонадёжности, — глупое слово, которым хитрые люди пугают дураков!.. Отвратительно всё это... какое-то издевательство над человеком, который делает большую, страшно важную работу. Знаете, — когда я вижу учителя, — мне делается неловко перед ним и за его робость, и за то, что он плохо одет, мне кажется, что в этом убожестве учителя и сам я чем-то виноват... серьёзно!

Он замолчал, задумался и, махнув рукой, тихо сказал:

— Такая нелепая, неуклюжая страна — эта наша Россия.

Тень глубокой грусти покрыла его славные глаза, тонкие лучи морщин окружили их, углубляя его взгляд. Он посмотрел вокруг и пошутил над собой:

— Видите, — целую передовую статью из либеральной газеты я вам закатил. Пойдёмте, — чаю дам за то, что вы такой терпеливый...

Это часто бывало у него: говорит так тепло, серьёзно, искренно и вдруг усмехнётся над собой и над речью своей. И в этой мягкой, грустной усмешке чувствовался тонкий скептицизм человека, знающего цену слов, цену

[1] станово́й (*уст.*) — полицейское должностное лицо

мечтаний. И ещё в этой усмешке сквозила милая скромность, чуткая деликатность...

Мы тихонько и молча пошли в дом. Тогда был ясный, жаркий день, играя яркими лучами солнца, шумели волны; под горой ласково повизгивала чем-то довольная собака. Чехов взял меня под руку и, покашливая, медленно проговорил:

— Стыдно и грустно, а верно: есть множество людей, которые завидуют собакам...

И тотчас же, засмеявшись, добавил:

— Я сегодня говорю все дряхлые слова... значит — старею!

Мне очень часто приходилось слышать от него:

— Тут, знаете, один учитель приехал... больной, женат, — у вас нет возможности помочь ему? Пока я его уже устроил...

Или:

— Слушайте, Горький, — тут один учитель хочет познакомиться с вами. Он не выходит, болен. Вы бы сходили к нему, — хорошо?

Или:

— Вот учительницы просят прислать книг...

Иногда я заставал у него этого «учителя»: обыкновенно учитель, красный от сознания своей неловкости, сидел на краешке стула и в поте лица подбирал слова, стараясь говорить глаже и «образованнее», или, с развязанностью болезненно застенчивого человека, весь сосредоточивался на желании не показаться глупым в глазах писателя и осыпал Антона Павловича градом вопросов, которые едва ли приходили ему в голову до этого момента.

Антон Павлович внимательно слушал нескладную речь; в его грустных глазах поблёскивала улыбка, вздрагивали морщинки на висках и вот своим глубоким, мягким, точно мàтовым[1] голосом он сам начинал говорить простые, ясные, близкие к жизни слова, — слова, которые как-то сразу упрощали собеседника: он переставал стараться быть умником, отчего сразу становился и умнее и интереснее...

Помню, один учитель — высокий, худой, с жёлтым, голодным лицом и длинным горбатым носом, меланхолически загнутым к подбородку, — сидел против Антона

[1] мáтовый — здесь: приглушённый

Павловича и, неподвижно глядя в лицо ему чёрными глазами, угрюмо басом говорил:

— Из подобных впечатлений бытия на протяжении педагогического сезона образуется такой психический конгломерат, который абсолютно подавляет всякую возможность объективного отношения к окружающему миру. Конечно, мир есть не что иное, как только наше представление о нём...

Тут он пустился в область философии и зашагал по ней, напоминая пьяного на льду.

— А скажите, — негромко и ласково спросил Чехов, — кто это в вашем уезде бьёт ребят?

Учитель вскочил со стула и возмущённо замахал руками:

— Что вы! Я? Никогда! Бить?

И обиженно зафыркал.

— Вы не волнуйтесь, — продолжал Антон Павлович, успокоительно улыбаясь, — разве я говорю про вас? Но я помню — читал в газетах — кто-то бьёт, именно в вашем уезде...

Учитель сел, вытер вспотевшее лицо и, облегчённо вздохнув, глухим басом заговорил:

— Верно! Был один случай. Это — Макаров. Знаете — неудивительно! Дико, но — объяснимо. Женат он, четверо детей, жена — больная, сам тоже — в чахотке, жалование — двадцать рублей... а школа — погреб, и учителю — одна комната. При таких условиях ангела божия поколотишь безо всякой вины, а ученики — они далеко не ангелы, уж поверьте!

И этот человек, только что безжалостно поражавший Чехова своим запасом умных слов, вдруг, зловеще покачивая горбатым носом, заговорил простыми, тяжёлыми, точно камни, словами, ярко освещая проклятую, грозную правду той жизни, которой живёт русская деревня...

Прощаясь с хозяином, учитель взял обеими руками его небольшую сухую руку с тонкими пальцами и, потрясая её, сказал:

— Шёл я к вам, будто к начальству, — с робостью и дрожью, надулся, как индейский петух, хотел показать вам, что мол, и я не лы́ком шит[1]... а ухожу вот — как от хорошего, близкого человека, который всё понимает.

[1] не лы́ком шит — nav ar pliku roku ņemams

Великое это дело — всё понимать! Спасибо вам. Иду. Уношу с собой хорошую, добрую мысль: крупные-то люди проще и понятливее и ближе душой к нашему брату, чем все эти мизеры, среди которых мы живём. Прощайте! Никогда я не забуду вас...

Нос у него вздрогнул, губы сложились в добрую улыбку, и он неожиданно добавил:

— А собственно говоря, и подлецы — тоже несчастные люди, — чёрт их возьми!

Когда он ушёл, Антон Павлович посмотрел вслед ему, усмехнулся и сказал:

— Хороший парень. Недолго проучит...

— Почему?

— Затравят... прогонят...

Подумав, он добавил негромко и мягко:

— В России честный человек — что-то вроде трубочиста, которым няньки пугают маленьких детей...

Мне кажется, что всякий человек при Антоне Павловиче невольно ощущал в себе желание быть проще, правдивее, быть более самим собой, и я не раз наблюдал, как люди сбрасывали с себя пёстрые наряды книжных фраз, модных слов и все прочие дешёвенькие штучки, которыми русский человек, желая изобразить европейца, украшает себя, как дикарь раковинами и рыбьими зубами. Антон Павлович не любил рыбьи зубы и петушиные перья; всё пёстрое, гремящее и чужое, надетое человеком на себя для «пущей важности», вызывало в нём смущение, и я замечал, что каждый раз, когда он видел пред собой разряженного человека, им овладевало желание освободить его от всей этой тягостной и ненужной мишуры[1], искажавшей настоящее лицо и живую душу собеседника. Всю жизнь А. Чехов прожил на средства своей души, всегда он был самим собой, был внутренно свободен и никогда не считался с тем, чего одни — ожидали от Антона Чехова, другие, более грубые, требовали. Он не любил разговоров на «высокие» темы, — разговоров, которыми этот милый русский человек так усердно потешает себя, забывая, что смешно, но совсем не остроумно рассуждать о бархатных костюмах в будущем, не имея в настоящем даже приличных штанов.

[1] мишурá (*перен.*) — ārišķība

Красиво простой, он любил всё простое, настоящее, искреннее, и у него была своеобразная манера опрощать[1] людей.

Однажды его посетили три пышно одетые дамы; наполнив его комнату шумом шёлковых юбок и запахом крепких духов, они чинно уселись против хозяина, притворились, будто бы их очень интересует политика, и — начали «ставить вопросы».

— Антон Павлович! А как вы думаете, чем кончится война?

Антон Павлович покашлял, подумал и мягко, тоном серьёзным, ласковым ответил:

— Вероятно, — миром...

— Ну да, конечно! Но кто же победит? Греки или турки?

— Мне кажется, — победят те, которые сильнее...

— А кто, по-вашему, сильнее? — наперебой спрашивали дамы.

— Те, которые лучше питаются и более образованны...

— Ах, как это остроумно! — воскликнула одна.

— А кого вы больше любите — греков или турок? — спросила другая.

Антон Павлович ласково посмотрел на неё и ответил с кроткой, любезной улыбкой:

— Я люблю — мармелад... а вы — любите?

— Очень! — оживлённо воскликнула дама.

— Он такой ароматный; — солидно подтвердила другая.

И все три оживлённо заговорили, обнаруживая по вопросу о мармеладе прекрасную эрудицию и тонкое знание предмета. Было очевидно — они очень довольны тем, что не нужно напрягать ума и притворяться серьёзно заинтересованными турками и греками, о которых они до этой поры и не думали.

Уходя, они весело пообещали Антону Павловичу:

— Мы пришлём вам мармеладу!

— Вы славно беседовали! — заметил я, когда они ушли.

Антон Павлович тихо рассмеялся и сказал:

— Нужно, чтоб каждый человек говорил своим языком...

Другой раз я застал у него молодого, красивенького

[1] опрощáть — padarīt vienkāršus

товарища прокурора. Он стоял пред Чеховым и, потряхивая кудрявой головой, бойко говорил:

— Рассказом «Злоумышленник» вы, Антон Павлович, ставите предо мной крайне сложный вопрос. Если я признаю в Денисе Григорьеве наличность злой воли, действовавшей сознательно, я должен, без оговорок, упечь Дениса в тюрьму, как этого требуют интересы общества. Но он дикарь, он не сознавал преступности деяния, мне его жалко! Если же я отнесусь к нему как к субъекту, действовавшему без разумения, и поддамся чувству сострадания, — чем я гарантирую общество, что Денис вновь не отвинтит гайки на рельсах и не устроит крушения? Вот вопрос! Как же быть?

Он замолчал, откинул ко́рпус[1] назад и уставился в лицо Антону Павловичу испытующим взглядом. Мундирчик на нём был новенький, и пуговицы на груди блестели так же самоуверенно и тупо, как глазки на чистеньком личике юного ревни́теля[2] правосудия.

— Если б я был судьёй, — серьёзно сказал Антон Павлович, — я бы оправдал Дениса...

— На каком основании?

— Я сказал бы ему: «Ты, Денис, ещё не дозрел до типа сознательного преступника, ступай — и дозрей!»

Юрист засмеялся, но тотчас же вновь стал торжественно серьёзен и продолжал:

— Нет, уважаемый Антон Павлович — вопрос, поставленный вами, может быть разрешён только в интересах общества, жизнь и собственность которого я призван охранять. Денис — дикарь, да, но он — преступник, — вот истина!

— Вам нравится граммофон? — вдруг ласково спросил Антон Павлович.

— О да! Очень! Изумительное изобретение! — живо отозвался юноша.

— А я терпеть не могу граммофонов! — грустно сознался Антон Павлович.

— Почему?

— Да они же говорят и поют, ничего не чувствуя! И всё у них карикатурно выходит, мёртво... А фотографиею вы не занимаетесь?

Оказалось, что юрист — страстный поклонник

[1] ко́рпус — ķermenis

[2] ревни́тель (*уст.*) — veicinātājs

фотографии; он тотчас же с увлечением заговорил о ней, совершенно не интересуясь граммофоном, несмотря на своё сходство с этим «изумительным изобретением», тонко и верно подмеченное Чеховым. Снова я видел, как из мундира выглянул живой и довольно забавный человечек, который пока ещё чувствовал себя в жизни, как щенок на охоте.

Проводив юношу, Антон Павлович угрюмо сказал:

— Вот этакие прыщи на... сиденье правосудия — распоряжаются судьбой людей.

И, помолчав, добавил:

— Прокуроры очень любят удить рыбу. Особенно — ершей!

Он обладал искусством всюду находить и оттенять пошлость, — искусством, которое доступно только человеку высоких требований к жизни, которое создаётся лишь горячим желанием видеть людей простыми, красивыми, гармоничными. Пошлость всегда находила в нём жестокого и острого судью.

Кто-то рассказывал при нём, что издатель популярного журнала, человек, постоянно рассуждающий о необходимости любви и милосердия к людям, — совершенно неосновательно оскорбил кондуктора на железной дороге и что вообще этот человек крайне грубо обращается с людьми, зависимыми от него.

— Ну, ещё бы, — сказал Антон Павлович, хмуро усмехаясь, — ведь он же аристократ, образованный... он же в семинарии учился! Отец его в лаптях ходил, а он носит лаковые ботинки...

И в тоне этих слов было что-то, что сразу сделало «аристократа» ничтожным и смешным.

— Очень талантливый человек! — говорил он об одном журналисте. — Пишет всегда так благородно, гуманно... лимонадно. Жену свою ругает при людях дурой. Комната для прислуги у него сырая, и горничные постоянно наживают ревматизм...

— Вам, Антон Павлович, нравится он?

— Да... очень. Приятный человек, — покашливая, соглашается Антон Павлович. — Всё знает. Читает много. У меня три книги зачитàл[1]. Рассеянный он, сегодня скажет вам, что вы чудесный человек, а завтра кому-ни-

[1] зачитáть — здесь: не отдать

будь сообщит, что вы у мужа вашей любовницы шёлковые носки украли, чёрные, с синими полосками...

Кто-то при нём жаловался на скуку и тяжесть «серьёзных» отделов в толстых журналах.

— А вы не читайте этих статей, — убеждённо посоветовал Антон Павлович. — Это же дружеская литература... литература приятелей. Её сочиняют господа Краснов, Чернов и Белов. Один напишет статью, другой возразит, а третий примиряет противоречия первых. Похоже, как будто они в винт с болвàном играют[1]. А зачем всё это нужно читателю, — никто из них себя не спрашивает.

Однажды пришла к нему какая-то полная дама, здоровая, красивая, красиво одетая, и начала говорить «под Чехова»:

— Скучно жить, Антон Павлович! Всё так серо: люди, небо, море, даже цветы кажутся мне серыми. И нет желаний... душа в тоске. Точно какая-то болезнь...

— Это — болезнь! — убеждённо сказал Антон Павлович. — Это болезнь. По-латыни она называется morbus pritvorialis.

Дама, к её счастью, видимо, не знала по-латыни, а может быть, скрыла, что знает.

— Критики похожи на слепнéй[2], которые мешают лошади пахать землю, — говорил он, усмехаясь своей умной усмешкой. — Лошадь работает, все мускулы натянуты, как струны на контрабасе, а тут на крýпе[3] садится слепень и щекочет и жужжит. Нужно встряхнуть кожей и махать хвостом. О чём он жужжит? Едва ли ему понятно это. Просто — характер у него беспокойный и заявить о себе хочется, — мол, тоже на земле живу! Вот видите, — могу даже жужжать, обо всём могу жужжать! Я двадцать пять лет читаю критики на мои рассказы, а ни одного ценного указания не помню, ни одного доброго совета не слышал. Только однажды Скабичевский произвёл на меня впечатление, он написал, что я умру в пьяном виде под забором...

В его серых, грустных глазах почти всегда мягко искрилась тонкая насмешка, но порою эти глаза

[1] винт с болвáном — карточный термин

[2] слепéнь — aklais dundurs

[3] круп (лошади) — (zirga) krusti

становились холодны, остры и жёстки; в такие минуты его гибкий, задушевный голос звучал твёрже, и тогда — мне казалось, что этот скромный, мягкий человек, если он найдёт нужным, может встать против враждебной ему силы крепко, твёрдо и не уступит ей.

Порою же казалось мне, что в его отношении к людям было чувство какой-то безнадёжности, близкое к холодному, тихому отчаянию.

— Странное существо — русский человек! — сказал он однажды. — В нём, как в решете, ничего не задерживается. В юности он жадно наполняет душу всем, что под руку попало, а после тридцати лет в нём остаётся какой-то серый хлам. Чтобы хорошо жить, по-человечески — надо же работать! Работать с любовью, с верой. А у нас не умеют этого. Архитектор, выстроив два-три приличных дома, садится играть в карты, играет всю жизнь или же торчит за кулисами театра. Доктор, если он имеет практику, перестаёт следить за наукой, ничего, кроме «Новостей терапии», не читает и в сорок лет серьёзно убеждён, что все болезни — простудного происхождения. Я не встречал ни одного чиновника, который хоть немножко понимал бы значение своей работы, обыкновенно он сидит в столице или губернском городе, сочиняет бумаги и посылает их в Змиев и Сморгонь для исполнения. А кого эти бумаги лишат свободы движения в Змиеве и Сморгони, — об этом чиновник думает так же мало, как атеист о мучениях ада. Сделав себе имя удачной защитой, адвокат уже перестаёт заботиться о защите правды, а защищает только право собственности, играет на скачках, ест устриц и изображает собой тонкого знатока всех искусств. Актёр, сыгравши сносно две-три роли, уже не учит больше ролей, а надевает цилиндр и думает, что он гений. Вся Россия — страна каких-то жадных и ленивых людей: они ужасно много едят, пьют, любят спать днём и во сне храпят. Женятся они для порядка в доме, а любовниц заводят для престижа в обществе. Психология у них — собачья: бьют их — они тихонько повизгивают и прячутся по своим конурам, ласкают — они ложатся на спину, лапки кверху и виляют хвостиками...

Тоскливое и холодное презрение звучало в этих словах. Но, презирая, он сожалел, и когда, бывало, при нём ругнёшь кого-нибудь, Антон Павлович сейчас же вступится:

— Ну, зачем вы? Он же старик, ему же семьдесят лет...

Или:

— Он же ведь ещё молодой, это же по глупости...

И когда он говорил так, — я не видел на его лице брезгливости...

В юности пошлость кажется только забавной и ничтожной, но понемногу она окружает человека, своим серым туманом пропитывает мозг и кровь его, как яд и угар, и человек становится похож на старую вывеску, изъеденную ржавчиной: как будто что-то изображено на ней, а что? — не разберёшь.

Антон Чехов уже в первых рассказах своих умел открыть в тусклом море пошлости её трагически мрачные шутки; стоит только внимательно прочитать его «юмористические» рассказы, чтобы убедиться, как много за смешными словами и положениями жестокого и противного скорбно видел и стыдливо скрывал автор.

Он был как-то целому́дренно[1] скромен, он не позволял себе громко и открыто сказать людям: «да будьте же вы... порядочнее!» — тщетно надеясь, что они сами догадаются о настоятельной необходимости для них быть порядочнее. Ненавидя всё пошлое и грязное, он описывал мерзости жизни благородным язы́ком поэта с мягкой усмешкой юмориста, и за прекрасной внешностью его рассказов мало заметен полный горького упрека их внутренний смысл.

Почтеннейшая публика, читая «Дочь Альбиона», смеётся и едва ли видит в этом рассказе гнуснейшее издевательство сытого барина над человеком одиноким, всему и всем чужим. И в каждом из юмористических рассказов Антона Павловича я слышу тихий глубокий вздох чистого, истинно человеческого сердца, безнадёжный вздох сострадания к людям, которые не умеют уважать своё человеческое достоинство и, без сопротивления подчиняясь грубой силе, живут, как рабы, ни во что не верят, кроме необходимости каждый день хлебать возможно более жирные щи, и ничего не чувствуют, кроме страха, как бы кто-нибудь сильный и наглый не побил их.

[1] целому́дренно — šķīsti

Никто не понимал так ясно и тонко, как Антон Чехов, трагизм мелочей жизни, никто до него не умел так беспощадно правдиво нарисовать людям позорную и тоскливую картину их жизни в тусклом хаосе мещанской обыденщины.

Его врагом была пошлость; он всю жизнь боролся с ней, её он осмеивал и её изображал бесстрастным, острым пером, умея найти плесень пошлости даже там, где с первого взгляда, казалось, всё устроено очень хорошо, удобно, даже — с блеском... И пошлость за это отомстила ему скверненькой выходкой, положив его труп — труп поэта — в вагон для перевозки «устриц».

Грязно-зелёное пятно этого вагона кажется мне именно огромной, торжествующей улыбкой пошлости над уставшим врагом, а бесчисленные «воспоминания» уличных газет — лицемерной грустью, за которой я чувствую холодное, пахучее дыхание всё той же пошлости, втайне довольной смертью врага своего.

Читая рассказы Антона Чехова, чувствуешь себя точно в грустный день поздней осени, когда воздух так прозрачен и в нём резко очерчены голые деревья, тесные дома, серенькие люди. Всё так странно — одиноко, неподвижно и бессильно. Углублённые синие дали — пустынны и, сливаясь с бледным небом, дышат тоскливым холодом на землю, покрытую мёрзлой грязью. Ум автора, как осеннее солнце, с жестокой ясностью освещает избитые дороги, кривые улицы, тесные и грязные дома, в которых задыхаются от скуки и лени маленькие жалкие люди, наполняя дома свои неосмысленной, полусонной суетóй[1]. Вот тревожно, как серая мышь, шмыгает «Душечка», — милая, кроткая женщина, которая так рабски, так много умеет любить. Её можно ударить по щеке, и она даже застонать громко не посмеет, кроткая раба. Рядом с ней грустно стоит Ольга из «Трёх сестёр»: она тоже много любит и безропотно подчиняется капризам развратной и пошлой жены своего лентяя-брата, на её глазах ломается жизнь её сестёр, а она плачет и никому ничем не может помочь, и ни одного живого, сильного слова протеста против пошлости нет в её груди.

Вот слезоточивая Раневская и другие бывшие хозяева «Вишнёвого сада» — эгоистичные, как дети, и дряб-

[1] суетá — kpada

лые[1], как старики. Они опоздали умереть и ноют, ничего не видя вокруг себя, ничего не понимая, — паразиты, лишённые силы снова присосаться к жизни. Дряненький студент Трофимов красно говорит о необходимости работать и — бездельничает, от скуки развлекаясь глупым издевательством над Варей, работающей не покладая рук для благополучия бездельников.

Вершинин мечтает о том, как хороша будет жизнь через триста лет, и живёт, не замечая, что около него всё разлагается, что на его глазах Солёный от скуки и по глупости готов убить жалкого барона Тузенбаха.

Проходит перед глазами бесчисленная вереница рабов и рабынь своей любви, своей глупости и лени, своей жадности к благам земли: идут рабы тёмного страха перед жизнью, идут в смутной тревоге и наполняют жизнь бессвязными речами о будущем, чувствуя, что в настоящем — нет им места...

Иногда в их серой массе раздаётся выстрел, это Иванов или Треплев догадались, что́ им нужно сделать, и — умерли.

Многие из них красиво мечтают о том, как хороша будет жизнь через двести лет, и никому не приходит в голову простой вопрос, да кто же сделает её хорошей, если мы будем только мечтать?

Мимо всей этой скучной, серой толпы бессильных людей прошёл большой, умный, ко всему внимательный человек, посмотрел он на этих скучных жителей своей родины и с грустной улыбкой, тоном мягкого, но глубокого упрёка, с безнадёжной тоской на лице и в груди, красивым искренним голосом сказал:

— Скверно вы живёте, господа!

Пятый день повышена температура, а лежать не хочется. Серенький финский дождь кропит землю мокрой пылью. На форте Инно бухают пушки, их «пристреливают». По ночам лижет облака длинный язык прожектора, зрелище отвратительное, ибо не даёт забыть о дьявольском наваждении — войне.

Читал Чехова. Если б он не умер десять лет тому назад, война, вероятно, убила бы его, отравив сначала ненавистью к людям. Вспомним его похороны.

Гроб писателя, так «нежно любимого» Москвою, был привезён в каком-то зелёном вагоне с надписью

[1] дря́блый — nevarīgs, savītis

крупными буквами на дверях его: «Для устриц». Часть небольшой толпы, собравшейся на вокзал встретить писателя, пошла за гробом привезённого из Маньчжурии генерала Келлера и очень удивилась тому, что Чехова хоронят с оркестром военной музыки. Когда ошибка выяснилась, некоторые весёлые люди начали ухмыляться и хихикать. За гробом Чехова шагало человек сто, не более; очень памятны два адвоката, оба в новых ботинках и пёстрых галстуках — женихи. Идя сзади их, я слышал, что один, В. А. Маклаков, говорит об уме собак, другой, незнакомый, расхваливал удобства своей дачи и красоту пейзажа в окрестностях её. А какая-то дама в лиловом платье, идя под кружевным зонтиком, убеждала старика в роговых очках:

— Ах, он был удивительно милый и так остроумен...

Старик недоверчиво покашливал. День был жаркий, пыльный. Впереди процессии величественно ехал толстый околóдочный[1] на толстой белой лошади. Всё это и ещё многое было жестоко пошло и несовместимо с памятью о крупном и тонком художнике.

В одном из писем к старику А. С. Суворину Чехов сказал:

«Нет ничего скучнее и непоэтичнее, так сказать, как прозаическая борьба за существование, отнимающая радость жизни и вгоняющая в апатию».

Этими словами выражено очень русское настроение, вообще, на мой взгляд, не свойственное А. П. В России, где всего много, но нет у людей любви к труду, так мыслит большинство. Русский любуется энергией, но — плохо верит в неё. Писатель активного настроения — например Джек Лондон — невозможен в России. Хотя книги Лондона читаются у нас охотно, но я не вижу, чтоб они возбуждали волю русского человека к деянию, они только раздражают воображение. Но Чехов — не очень русский в этом смысле. Для него ещё в юности «борьба за существование» развернулась в неприглядной, бескрасочной форме ежедневных, мелких забот о куске хлеба не только для себя, — о большом куске хлеба. Этим заботам, лишённым радостей, он отдал все силы юности, и надо удивляться, как он мог сохранить

[1] околóдочный (*уст.*) — полицейский надзиратель городского участка

свой юмор? Он видел жизнь только как скучное стремление людей к сытости, покою; великие драмы и трагедии её были скрыты для него под толстым слоем обыденного. И, лишь освободясь немного от заботы видеть вокруг себя сытых людей, он зорко взглянул в суть этих драм.

Я не видел человека, который чувствовал бы значение труда как основания культуры так глубоко и всесторонне, как А. П. Это выражалось у него во всех мелочах домашнего обихода, в подборе вещей и в той благородной любви к вещам, которая, совершенно исключая стремление накоплять их, не устаёт любоваться ими как продуктом творчества духа человеческого. Он любил строить, разводить сады, украшать землю, он чувствовал поэзию труда. С какой трогательной заботой наблюдал он, как в саду его растут посаженные им плодовые деревья и декоративные кустарники! В хлопотах о постройке дома в Аутке он говорил:

— Если каждый человек на куске земли своей сделал бы всё, что он может, как прекрасна была бы земля наша!

Затеяв писать пьесу «Васька Буслаев», я прочитал ему хвастливый Васькин монолог:

Эхма, кабы силы да поболе мне!
Жарко бы дохнул я — снега бы растопил,
Круг земли пошёл бы да всю распахал,
Век бы ходил — города городил,
Церкви бы строил да сады все садил!
Землю разукрасил бы — как девушку,
Обнял бы её — как невесту свою,
Поднял бы я землю ко своим грудям.
Поднял бы, понёс её ко господу:
— Глянь-ко ты, господи, земля-то какова, —
Сколько она Васькой изукрашена!
Ты вот её камнем пустил в небеса,
Я ж её сделал изумрудом дорогим!
Глянь-ко ты, господи, порадуйся,
Как она зелено на солнышке горит!
Дал бы я тебе её в подарочек,
Да — наклàдно[1] будет — самому дорога!

[1] наклáдно — невыгодно

Чехову понравился этот монолог, взволнованно покашливая, он говорил мне и доктору А. Н. Алексину:

— Это хорошо... Очень настоящее, человеческое! Именно в этом «смысл философии всей». Человек сделал землю обитаемой, он сделает её и уютной для себя. — Кивнув упрямо головой, повторил: — Сделает!

Предложил прочитать похвальбу Васькину ещё раз, выслушал, глядя в окно, и посоветовал:

— Две последние строки — не надо, это озорство. Лишнее...

О своих литературных работах он говорил мало, неохотно; хочется сказать — целомудренно и с тою же, пожалуй, осторожностью, с какой говорил о Льве Толстом. Лишь изредка, в час весёлый, усмехаясь расскажет тему, всегда — юмористическую.

— Знаете, — напишу об учительнице, она атеистка, — обожает Дарвина, уверена в необходимости бороться с предрассу́дками[1] и суеве́риями[2] народа, а сама, в двенадцать часов ночи, варит в бане чёрного кота, чтоб достать «дужку», — косточку, которая привлекает мужчину, возбуждая в нём любовь, — есть такая косточка...

О своих пьесах он говорил как о «весёлых» и, кажется, был искренно уверен, что пишет именно «весёлые пьесы». Вероятно, с его слов Савва Моро́зов[3] упрямо доказывал: «Пьесы Чехова надо ставить как лирические комедии».

Но вообще к литературе он относился со вниманием очень зорким, особенно же трогательно — к «начинающим писателям». Он с изумительным терпением читал обильные рукописи Б. Лазаревского, Н. Олигера и многих других.

— Нам нужно больше писателей, — говорил он. — Литература в нашем быту всё ещё новинка и «для избранных». В Норвегии на каждые двести двадцать шесть человек населения — один писатель, а у нас — один на миллион...

[1] предрассу́дки — aizspriedumi

[2] суеве́рия — māņticība

[3] Моро́зов Савва Тимофеевич (1862—1905) — русский капиталист-текстильщик, друг Горького, меценат МХАТа, сочувствовал и помогал большевикам.

Болезнь иногда вызывала у него настроение ипохондрика и даже мизантропа. В такие дни он бывал капризен в суждениях своих и тяжёл в отношении к людям.

Однажды, лёжа на диване, сухо покашливая, играя термометром, он сказал:

— Жить для того, чтоб умереть, вообще не забавно, но жить, зная, что умрёшь преждевременно, — уж совсем глупо...

Другой раз, сидя у открытого окна и поглядывая в даль, в море, неожиданно сердито проговорил:

— Мы привыкли жить надеждами на хорошую погоду, урожай, на приятный роман, надеждами разбогатеть или получить место полицеймейстера, а вот надежды поумнеть я не замечаю у людей. Думаем: при новом царе будет лучше, а через двести лет — ещё лучше, и никто не заботится, чтоб это лучше наступило завтра. В общем — жизнь с каждым днём становится всё сложнее и двигается куда-то сама собою, а люди — заметно глупеют, и всё более людей остаётся в стороне от жизни.

Подумал и, наморщив лоб, прибавил:

— Точно нищие калеки во время крестного хода.

Он был врач, а болезнь врача всегда тяжелее болезни его пациентов; пациенты только чувствуют, а врач ещё и знает кое-что о том, как разрушается его организм. Это один из тех случаев, когда знание можно считать приближающим смерть.

Хороши у него бывали глаза, когда он смеялся, — какие-то женски ласковые и нежно мягкие. И смех его, почти беззвучный, был как-то особенно хорош. Смеясь, он именно наслаждался смехом, ликовал; я не знаю, кто бы ещё мог смеяться так — скажу — «духовно».

Грубые анекдоты никогда не смешили его.

Смеясь так мило и душевно, он рассказывал мне:

— Знаете, почему Толстой относится к вам так неровно? Он ревнует, он думает, что Сулержи́цкий[1] любит вас больше, чем его. Да, да. Вчера он говорил мне: «Не могу отнестись к Горькому искренно, сам не знаю почему, а не могу. Мне даже неприятно, что Сулер живёт у него. Сулеру это вредно. Горький — злой

[1] Сулержи́цкий Леопольд Антонович (1872—1916) — русский общественный и театральный деятель, режиссёр. Был близок с Л. Н. Толстым, А. П. Чеховым, А. М. Горьким.

человек. Он похож на семинариста, которого насильно постригли в монахи и этим обозлили его на всё. У него душа соглядáтая[1], он пришёл откуда-то в чужую ему, Ханаáнскую зéмлю[2], ко всему присматривается, всё замечает и обо всём доносит какому-то своему богу. А бог у него — урод, вроде лешего или водяного деревенских баб».

Рассказывая, Чехов досмеялся до слёз и, отирая слёзы, продолжал:

— Я говорю: «Горький добрый». А он: «Нет, нет, я знаю. У него утиный нос, такие носы бывают только у несчастных и злых. И женщины его не любят, а у женщин, как у собак, есть чутьё к хорошему человеку. Вот Сулер — он обладает действительно драгоценной способностью бескорыстной любви к людям. В этом он — гениален. Уметь любить — значит всё уметь...»

Отдохнув, Чехов повторил:

— Да старик ревнует... Какой удивительный...

О Толстом он говорил всегда с какой-то особенной, едва уловимой, нежной и смущённой улыбкой в глазах, говорил, понижая голос, как о чём-то призрачном, таинственном, что требует слов осторожных, мягких.

Неоднократно жаловался, что около Толстого нет Эккермана[3], человека, который бы тщательно записывал острые, неожиданные и часто противоречивые мысли старого мудреца.

— Вот бы вы занялись этим, — убеждал он Сулержицкого, — Толстой так любит вас, так много и хорошо говорит с вами.

О Сулере Чехов сказал мне:

— Это — мудрый ребёнок...

Очень хорошо сказал.

Как-то при мне Толстой восхищался рассказом Чехова, кажется — «Душенькой». Он говорил:

— Это — как бы кружево, сплетённое целомудренной девушкой; были в старину такие девушки-кружевницы,

[1] соглядáтай — тот, кто тайно наблюдает, шпионит за кем-либо.

[2] Ханаáнская земля́ — древнее название Палестины, Сирии и Финикии.

[3] Эккерман Иоганн Петер (1792—1854) — личный секретарь И. В. Гёте.

«вековушки», они всю жизнь свою, все мечты о счастье влагали в узор. Мечтали узорами о самом милом, всю неясную, чистую любовь свою вплетали в кружево. — Толстой говорил очень волнуясь, со слезами на глазах.

А у Чехова в этот день была повышенная температура, он сидел с красными пятнами на щеках и, наклоня голову, тщательно протирал пенсне. Долго молчал, наконец, вздохнул, сказал тихо и смущенно:

— Там — опечатки...

О Чехове можно написать много, но необходимо писать о нём очень мелко и чётко, чего я не умею. Хорошо бы написать о нём так, как сам он написал «Степь», рассказ ароматный, лёгкий и такой, по-русски, задумчиво грустный. Рассказ — для себя.

Хорошо вспомнить о таком человеке, тотчас в жизнь твою возвращается бодрость, снова входит в неё ясный смысл.

Человек — ось мира.

А — скажут — пороки, а недостатки его?

Все мы голодны любовью к человеку, а при голоде и плохо выпеченный хлеб — сладко питает.

ВАЛЕРИАН ЗАХАРЖЕВСКИЙ

ДОКТОР ЧЕХОВ

(Рассказ)

Антон Павлович сидел на корточках у цветочной клумбы, присматриваясь к бледно-зелёным побегам неизвестной травки. Она победно пробила влажный слой земли и радовалась солнцу. Между побегами невидимой тропинкой бежали муравьи — откуда, куда?

У Антона Павловича заболела спина, он встал, прошёл к скамейке и сел, откинувшись и закрыв глаза. Июньское солнце нежно грело лоб и веки. Так бы и задремал. Гудели где-то пчёлы; прилетел запах резеды и напомнил Цейлон, синие волны океана.

Чехов вспомнил, что, когда собирался на Сахалин и приятели спрашивали его, зачем эта поездка, он отвечал, что пусть это путешествие не даст ему ничего, но

разве не случится таких двух-трёх дней, о которых он всю жизнь будет вспоминать с восторгом или горечью?

Приятели пожимали плечами и посмеивались. А теперь Чехов думал иначе, ему хотелось довершить[1] понимание русской жизни...

Антон Павлович очнулся. Скоро полдень, надо идти на приёмку больных.

...Последней больной была крестьянка Федотьева. По особому выражению глаз — тоскливому и умоляющему, по короткому дыханию Чехов угадывал, что это сердечная болезнь. Слушал; сердце работало так: удары то путались, то замирали, то внезапно торопились — точно сердце было испугано угрозой остановиться навсегда.

Чехов поставил стетоскоп на столик и спросил:

— Сколько вам лет?

— Скоро сорок, родимый.

Антон Павлович ещё раз вгляделся в лицо больной: только сорок? Спросил:

— Тяжело дышать?

— У, как тяжело! Запирает грудь, а как солнышко зайдёт — чую, смерть за мной ходит. А мне жить надо — трое-то деток. И ноги пухнут...

— Лечить будем, Федотьева. Полежите недельки две, микстуру попьёте — приду к вам поглядеть, как выздоровели! Вы из Васькова?

— Из Васькова, милый, из Васькова! Спасибо, родимый, спасибо!

Чехов следил, как Федотьева шла по улочке — шла осторожно, едва отрывая ступни от земли, точно тяжесть несла.

Будет ли Федотьева жить? Нет. Мысль о скором конце она примет с той фатальной покорностью, которая присуща русскому крестьянину. А вообще... Тот, кто страдает тяжёлой болезнью сердца или туберкулезом, должен уметь жить с затаённой мыслью о смерти, о которой здоровый человек едва ли думает.

Антон Павлович глубоко задумался и не заметил, что его бричка уже подъезжала к дому. Сестра Маша стояла у калитки и, спеша брату навстречу, говорила:

— Знаешь, Антон, сегодня вечером приедет Лика!

Антон Павлович обрадованно и тихо засмеялся.

— Как отлично! А день-то сегодня какой!

[1] довершить (*высок.*) — довести до конца

— Июнь — всегда прелесть.

Они стояли у калитки, коротко переговариваясь: о больных на приёмке, о том, что зацвёл жасмин, что скоро трóица[1], что мать в последнее время грустна — ведь 17 июня годовщина смерти брата Николушки...

Они стояли и говорили — брат и сестра, очень похожие друг на друга, с одинаковыми карими глазами, сдержанно-улыбчивыми, и даже в голосах было общее; в низком баритоне брата и мягком, грудном — сестры. И казалось: они больше, чем брат и сестра, больше, чем друзья, — они точно продолжались один в другом.

Потом Маша пошла в сад посмотреть на карасéй[2] в маленьком пруду, а Антон Павлович долго стоял у огромного итальянского окна в своём кабинете. Сегодня приедет Лика Мизинова. Антону Павловичу дорога была эта девушка с пепельными волосами, с мерцающими глазами, не сознающая ещё, как она красива.

Когда Лика приезжала, это было как праздник, а праздник всегда хорош тем, что в нём юность.

В том, как пела Лика, было какое-то колдовство. Пела романсы Чайковского и старинные русские песни; некоторые из них странно волновали Антона Павловича и вызывали целые вереницы мыслей, образов, воспоминаний, из которых позже слагались темы повестей и рассказов! И — удивительно: между тем, о чём пела Лика, и темой повести не улавливалось логической связи. Почему же песня «Как вечор я степью шла», которую пела Лика, стала поводом к написанию рассказа «Студент», а «Лучинушка» зародила замысел повести о большой любви женатого и замужней — и от этой любви им не оторваться, хотя она неотвратимо ведёт к страданию, может быть, к беде или гибели? Эту повесть — Чехов знал — он напишет когда-нибудь непременно.

О музыке, так странно волнующей его, Антон Павлович думал постоянно, но ни с кем не делился этим своим наблюдением.

День клонился к закату, к долгому летнему вечеру, и Антона Павловича всегда в эту пору дня охватывал особый непокой и смутные какие-то настроения.

— Лика приехала! — крикнула откуда-то сестра Маша.

[1] трóица — vasaras svētki

[2] карáсь — karūsa

Вскоре Антон Павлович увидел Лидию Стахиевну, которая неторопливо входила в калитку.

Чехов поспешил ей навстречу.

— Редкий случай, когда Лика не обманула: приехала, как обещала. Вероятно, ваш поклонник, поручик Трофим, не назначил вам на сегодня свидания.

— О, как хорошо было бы, Антон Павлович, если бы вместо со́нма[1] выдуманных вами моих поклонников был хотя бы один живой! Кстати, о поклонниках и поклонницах... Я ехала из Москвы до Лопасни[2] с вашей поклонницей.

— Моей поклонницей?

— Да, с одной дамой — из тех, которых вы зовёте турнюрными... Она говорила, что обожает писателя Чехова и если прочтёт рассказ «Тоска», то плачет всю ночь.

Чехов весело рассмеялся.

— Ну, а если бы извозчик Иона стал рассказывать этой турнюрной даме о своём горе — та бы с досадой отвернулась. Мало толку от нашего писательского брата.

— Вы думаете?

Антон Павлович водил Лику по саду, показывал цветы и деревья: цвели сирень и жасмин. Лика говорила, что если погрузить лицо в грозди сирени и закрыть глаза, то на миг приходит не то обморок, не то сладкое забытьё.

А Чехов думал об извозчике Ионе, который, томясь одиночеством, рассказывал своей лошади о недавно умершем сыне. И ещё вспомнил он Ваньку, который так адресовал письмо домой о своей горестной жизни: «На деревню дедушке», а потом приписал для верности: «Константину Макарычу».

Что ж! Вероятно, очень грустное в жизни на пределе своём становится комическим...

Вечером Лика много пела — сперва старинные романсы, потом «Не слышно шума городского» и под конец лермонтовское «Ночевала тучка золотая...».

Около полуночи Антон Павлович вышел в сад. Ночь была тёмная, под деревьями лежала глухая чернота, а над садом, на западе, горела огромная неподвижная вечерняя звезда — Венера.

[1] со́нма (*книжн. устар.*) — множество

[2] ны́не го́род Чехов

Какая-то мысль, ещё не созревшая, тревожила Антона Павловича, и, уже уходя из сада, он нашёл для неё слова.

...России ныне нужен такой писатель, который волновал бы одновременно разных людей, зарождая в них новые мысли и чувства, но не так, как ту турнюрную даму, у которой от рассказа про извозчика Иону приключился сентиментальный насморк. Крепко спит матушка Русь!

Но такой писатель должен быть гением.

В газетах писали, что волна холерных заболеваний движется на север и уже были случаи холеры в Тульской губернии. Чехов понял, что надо спешить с устройством бараков в его участке, но земство денег давало немного, и приходилось обращаться к частной благотворительности[1].

На старенькой бричке Чехов поехал в имение Орловых-Давыдовых — Отрады. Он знал, что граф бежал от холеры за границу, но графиня была ещё в Отрадах.

В гостиной Антон Павлович ждал графиню минут пятнадцать и от скуки рассматривал фамильные портреты в золоченых рамах: воинственных генералов, надменных красавиц, брюзгливых старух в необычайно пышных платьях.

Скрипнула дверь, и вошла графиня, шурша шёлком и посверкивая огромными бриллиантами серёг в мясистых ушах.

Чехов представился и коротко пояснил цель посещения.

— А-а, вы наш сосед, доктор. Я не поняла, чем мы можем помочь вам.

Чехов сухо повторил только что сказанное: необходимы средства для устройства холерных бараков, куда будут помещаться рабочие имения, заболевшие холерой.

Графиня, видимо, опять-таки не понимала, слушая нетерпеливо, оглядывая Чехова прищуренными глазами. Сказала удивлённо:

— Но ведь сестра мне говорила, что уже давала пятьсот рублей на медицинские дела.

— Это не имело отношения к холерной эпидемии.

[1] частная благотворительность — оказание частными лицами материальной помощи бедным из милости

— Но почему же земство не строит этих... бараков?

— Ваши рабочие — пришлый народ, а земство лечит местное население.

— Да? Странное правило... Во всяком случае вам надо обратиться к моему управляющему. Холера, земство, бараки... я не разбираюсь в этом. Управляющий будет дня через два.

Чехов уже не слушал, что говорила графиня. С глухо бьющимся сердцем он молча сделал лёгкий поклон и вышел из гостиной.

Садясь в бричку, подумал: «Вот она, аристократическая грубость».

Дома застал студента-медика пятого курса, присланного земством на холерную эпидемию. Студент смущённо ерóшил[1] непослушные волосы и старался говорить научным языком.

— Это ещё не настоящая эпидемия, а эндемия... Я читал, что метод Кантани достаточно радикален...

Через неделю студент удивлялся.

— Скажите, Антон Павлович, вот вы отдаёте столько сил на эту возню с холерой, вы отказались от жалованья, ходите пешком по деревне, а ведь вам и слова благодарности не скажут...

Чехов рассмеялся.

— Э, милый, студиóзус[2], понять это вам будет трудновато. Видите ли, оттого что я работаю даром, меня больше слушаются и мужики, и помещики, и старосты: видят во мне не чиновника, а настоящего работника. Так-то, доктор!

Студент не совсем понял Чехова и покачал головой. Потом он наблюдал, как ласково глядели на Антона Павловича мужики, и особенно бабы, и в этой ласковости был оттенок жалостливости.

Когда студент рассказал об этом сестре Чехова — Марии Павловне, — та заметила:

— Антон Павлович смеётся и утверждает, что бабы смотрят на него, как на блажéнного[3] или юрóдивого[4], — ласково, жалеючи.

— Как на человека не от мира сего...

[1] ерóшить — bužināt

[2] студиóзус — студент

[3] блажéнный — dīvains; plānprātīgs

[4] юрóдивый (*разг.*) — vientiesīgs

— О нет, Антон Павлович очень «от мира сего», может быть, даже слишком. Поэтому-то он и ездил на Сахалин!

— Но ведь это подвиг!

...У Антона Павловича было кольцо, на котором было выгравировано, что одинокому весь мир — пустыня.

Что ж! Одиночество нужно человеку, чтобы порой поглядеть на людей из далёкого уединения и увидеть ранее не виденное. А потом вернуться в мир к людям с новым знанием о них... да и о себе.

Птицы видят землю с высоты, где пустынный простор, и не оттуда ли приносят на землю свои чудесные песни? Например — жаворонок. Он отвесно подымается на огромную высь и потом устремляется к земле, восторженно распевая. Что узнал он там?

И ещё думал Антон Павлович — почти спокойно, что, кажется, он обречён на постоянное одиночество.

Эта мысль посетила его вчера, когда Лика, уезжая в Москву и прощаясь, поглядела на него глазами, полными тоски, нежности и покорности.

«Но я бы не принёс ей счастья. Мне надо учиться любить одиночество».

Так думал Антон Павлович по дороге в Васьково, куда шёл навестить Федотьеву, которая, очевидно, безнадёжна.

В тёмной избе, на полáтях[1], полусидя дремала больная, а старшая её дочь — высокая девочка с недетски строгими глазами — умывала младшего брата.

— Здравствуйте, дети! Ну, как ныне ваша матушка?

Девочка серьёзно, деловито ответила:

— Мамке худо, дух закрывается.

Федотьева очнулась.

— Спаси вас господи, родимый, и всё-то вы хлопочете обо мне. А у меня ноги пухнут, воздуху нет.

Антон Павлович вынул стетоскоп из кармана. Сердце больной точно дрожало, мгновениями замирало. Это — конец.

Антон Павлович увидел в глазах Федотьевой ту отрешённость и тоскливую покорность, которую видеть было невыносимо. Он повернул голову и встретился со взглядом девочки. Она стояла, опустив мокрые руки, и у неё дрожал подбородок.

[1] полáти — [gu|amā] lāva

Чехов сказал, что пришлёт сестру и та сделает укол. Девочка быстрым шёпотом спросила:

— Мамка помирает? А тятьки всё нет; он на отхо́жем[1], печником.

Антон Павлович не ответил девочке. Сказал только:

— Надо окно открыть, дышать будет легче матушке.

Был поздний вечер. Антон Павлович сидел на террасе и слушал, как пела в доме Лика, как пела скрипка Потапенко и рокотал рояль. Антон Павлович слышал однажды эту вещь, но мельком, и сейчас слушал её словно впервые. Это была «Валахская легенда» — серенада Браги.

Но вот на протяжной ноте замер голос Лики, замерла скрипка и, глухо пророкотав, стих рояль. Наступила тишина. Это была тишина после прекрасной музыки — особая тишина, в которой начинает звучать в душе человека иная музыка — музыка мыслей и чувств.

Антон Павлович долго ходил по тёмной аллее, среди деревьев, осыпанных лунным пеплом, вглядывался в лунный нежный сумрак и точно ждал чего-то.

Потом, за ужином, был рассеян. Среди весёлого шума и споров — тон задавал неугомонный Потапенко — нет-нет, да и вспоминал на мгновение недавний восторг. И у него чуть кружилась голова.

Ночью долго не мог уснуть, а когда уснул наконец, сон был нервным и лёгким.

...Он видел сумеречное поле и низко над ним летящую фигуру человека в чёрной одежде, седоголового, с чёрными бровями, со скрещёнными на груди руками. Этот странный человек бесшумно пронёсся мимо Антона Павловича, и было непонятно: прошептал ли он удивительные слова или вызвал их в сознании Чехова? Но они остались в его памяти.

Наутро, за чаем, сестра Маша спросила:

— Ты нездоров, Антоша? У тебя блестят глаза.

— Нет, здоров.

Лика заметила:

— Может быть, с Антоном Павловичем что-то случилось — он сейчас не как всегда, но разве он скажет?

День был тихий и знойный, сад стоял как заворожённый; цвели сирень и жасмин.

[1] отхо́жий: отхо́жий про́мысел (*уст.*) — временная сезонная работа крестьян вне места постоянного жительства

Антон Павлович всё раздумывал о странном сне. Каким-то древним знанием веяло от лица того призрачного человека. И какую мысль навеял он? Мысль о великом познании сущности жизни, которое когда-то станет достоянием лучших и многих...

И уже намечалась повесть о чёрном монахе — призраке взволнованного мозга. Повесть, может быть, очень странная, но с затаённой сокровенной мыслью.

Антон Павлович принялся писать. Все дни писания — как всегда — помнились потом, будто в тумане. Он присаживался к столу, писал три-четыре строки, потом уходил в сад, садился на скамейку либо брался за ножницы и шёл подрезывать отцветшие кисти сирени... но всё время все мысли о повести — поиски слов, фразы, образа, штриха. Находил искомое и опять уходил в кабинет. Писал, записывал... Повесть писалась немного дней, и Антон Павлович так её и назвал: «Чёрный монах».

В эти дни приезжала Лика, но он неясно помнил об этом, а сестра Маша упрекала брата, что он был холоден с ней...

Наступил июль. Примолкли птицы, зашумели деревья от порывов ленивого ветра. Наступала пора отдохновения земли от весеннего буйства — пора созревания.

Однажды пришла в усадьбу высокая девочка со строгими недетскими глазами и сказала, что мамка померла и теперь она, Дуня, за мамку.

Сестра Маша отправилась в Васьково и потом рассказывала, что пятнадцатилетняя Дуня работает словно взрослая и меньшие дети слушаются ее, как матери. Антон Павлович и Маша обсуждали, как помочь Федотьевым...

Лика собралась в Париж учиться пению; приезжала в Мелихово в последнее время с Потапенко, и Антон Павлович невольно присматривался к ним. Красивый, всегда оживлённый Потапенко — Игнациус, как его называл Чехов, — был влюблён в Лику, и это было как одержимость — он не спускал с неё глаз, жадно следил за каждым её словом и движением, и в лице его было что-то покорное, почти жалкое. А у Лики в глазах измученность, она тянулась к Антону Павловичу, иногда начинала что-то говорить ему, но тут же обрывала себя и тоскливо задумывалась...

Однажды сказала Антону Павловичу:

— Смотрите, скоро уже осень. По вечерам сад шумит так мрачно и... мне кажется, что счастливые дни моей жизни миновали навсегда.

— И вы, Лика, ничего не ждёте впереди? Вы, олицетворение юности?

— Не знаю. Ничего не знаю.

В это время подошёл Потапенко, обеспокоенно взглянул на Лику.

Антон Павлович слегка улыбнулся:

— Вот Лика говорит, что её счастливая жизнь окончена. И чуть ли не слёзы на глазах.

Потапенко сперва вспыхнул, но тут же побледнел и с усилием вымолвил:

— Лидия Стахиевна, что с вами?

И столько было нежности в его голосе, что Антон Павлович, смущённый, отошёл от них...

По вечерам Антон Павлович выходил в сад, слушал в темноте сумрачный шум деревьев и вспоминал Ликины слова.

А однажды получил из Москвы от неё письмо. Лика писала, что близится её отъезд в Париж и что ей «надо знать, приедете ли вы когда-нибудь в Москву или нет. Всё равно, только бы знать. Ведь мне осталось только три-четыре месяца вас видеть, а потом, может быть, никогда...»

Был яркий октябрьский день, когда Лика приехала в Мелихово. Перед вечером они гуляли по пустынной полевой дороге, оба настороженные и неспокойные.

Антон Павлович продолжал:

— Не пугайте меня словом эгоизм и не говорите, что я живу в своё удовольствие, то есть пишу и не угрызаюсь ничем. Очаровательная Лика, ведь вам совсем не знакомы тяжесть и угнетающая сила этой работы — писательской...

— Но ведь вы, Антон Павлович, человек холодный, равнодушный, и это облегчает вам жизнь.

— Лика, милая, это мечта моя — быть равнодушным и спокойным... Наблюдая что-нибудь страшное или безобразно-несправедливое, можно плакать или стенать сколько душе угодно, но за письменным столом извольте писать об этом точно, объективно, просто, а по-вашему — холодно. И только тогда страшное и горестное будет по-настоящему страшным. А главное — писать

просто, ведь художественная простота — это преодолённая сложность. То-то же! Ну, а кроме того, я ведь доктор, доктор-писатель. Я ставлю диагнозы, и тут сентиментальность мешала бы. Лика, милая! Я имею дело с тяжелобольным — с Россией; я ставлю диагнозы, да только не знаю, как лечить этого огромного больного. Верно, когда-нибудь он сам себя вылечит... То-то будет история!

Лика молча слушала Чехова, и её удивляло суровое и спокойное выражение лица Чехова.

Вдруг глаза Антона Павловича заискрились, он тихо рассмеялся:

— Всё это, Лика, торжественная философия! Вы лучше скажите — когда в Париж? Вот станете знаменитой актрисой, а я буду хвастать, что Лика была моей невестой! Вы же не будете и узнавать меня!

Лика словно не слышала Чехова, её губы болезненно кривились, она делала усилия, чтобы не разрыдаться.

Они долго шли молча — и так пришли в усадьбу.

Потом Антон Павлович увидел её в гостиной: она стояла, наклонив голову и опустив глаза на сплетённые пальцы рук. Увидела Чехова... вздрогнула и быстро прошла в другую комнату...

В марте следующего года Лика уехала в Париж. Антон Павлович и Маша провожали её на Брестском вокзале в Москве.

На перроне было холодно и ветрено, паровоз коротко и нервно, точно вздрагивая, издавал гудки. Сестра Маша, прощаясь с Ликой, гладила обеими ладонями её щёки и что-то шептала. Чехов расслышал: «Будь же счастлива, милая, милая!»

Ударил третий звонок. Паровоз протяжно и сумрачно заревел, Лика бросилась к лесенке вагона, и Антон Павлович почувствовал внезапную душевную боль.

Когда возвращались на конке с вокзала, Маша сказала:

— Знаешь, Антоша, на прошлой неделе в Париж выехал Потапенко с женой.

Чехов кивнул головой.

— Знаю.

...Прошло три года. Опять настал июнь.

После засушливых дней налетел короткий обильный дождь. Утром Антон Павлович, выйдя в сад своей мели-

ховской усадьбы, остановился, зачарованный прохладой, тишиной и запахом влажной зелени. Заметил в конце аллеи на скамейке Лику, которая вчера приехала из Москвы, и поспешил к ней. Разговаривая о постороннем, Антон Павлович всё приглядывался к её лицу. Что-то тяготило Лику, камнем лежало на душе.

Чехов наблюдал это в жизни: если что-нибудь отвлекало человека, он с усилием отрывался от старого своего горя, которое неотступно, как вторая действительность сопровождало его. И всё-таки человек живёт.

В вершине огромного дуба меланхолически запела йволга[1], точно спрашивала кого-то о чём-то.

— О чём она, эта иволга? — спросила рассеянно Лика.

— Вероятно, о том, о чём и люди тоскуют. У каждого такого певца есть своя Лика...

Помолчали. Наконец Лика промолвила:

— Нет прежней Лики. Прежняя была счастливая — совсем другая. А вы, Антон Павлович, счастливы теперь?

Чехов пожал плечами.

— Кажется, счастье бывает только в воспоминаниях. Первые годы после окончания университета мне рисуются сейчас как настоящее счастье; тогда я был весёлый Чехонте, но тогда я не знал, что это — счастье. Так-то, милая Ликуся!

Далеко за полем, в лёгком тумане, синел лес, и оттуда слала свой вдовий крик кукушка.

А июньское утро опять было как праздник...

— Что я могу рассказать, Антон Павлович? — спросила Лика. — Игнатий меня очень любил, но, когда родилась моя девочка, мадам Потапенко, как хорёк, вцепилась мелкими зубами в Игнатия и даже затевала отнять у меня его ребёнка, чтобы не было никакой связи между Игнатием и мной. И он оставил меня. Ужасны были мои дни в Париже, в Швейцарии, в Москве. Есть что-то отвратительное в том, что человек может всё вынести. Я думала об этом, когда умерла моя девочка Христиночка. Ей было два года.

Лика умолкла и сейчас же с усилием вымолвила:

— Такая моя судьба: быть отвергнутой теми, кого люблю.

[1] йволга — vālodze

Антон Павлович качнулся всем телом, точно от удара. Сказал глухо:

— Я могу сказать только одно, Лика. Если знаешь, что не принесёшь счастья любимой, побори своё чувство. Уйди.

Оба молчали. Пауза затягивалась. Прервала ее Лика:

— Не надо больше об этом. Расскажите лучше о себе, Антон Павлович.

Чехов заговорил тихо, а Лика заметила, какое у него измождённое[1] лицо, а в бороде отдельные седые волоски; и от этого ей стало страшно. А он, сощурив глаза, смотрел на далёкий лес, — далёкую страну, где тоскливо кричала кукушка.

— Помните, Лика, несколько лет назад я говорил вам о писательстве и доказывал, что писатель о страшном и оскорбительно-безобразном должен говорить просто и без сентиментов. И только тогда страшное и горестное жизни станут ощущаться во всей остроте. Я так и старался писать, повествуя о нашей несчастной России с её слабыми людьми, гибнущими глупо и бесследно. Жить мне в этой стране душно и трудно. А ведь тысячи вещей напоминают о том, что есть и красота, и счастье, вот такое утро, и вёсны, и цветы... Тяжёлая это штука — наша жизнь, милая Лика.

— Не говорите так, Антон Павлович! У вас слава, друзья, чудесная ваша работа!

— Слава? Читатель обычно не думает об авторе, братьев-писателей твоя слава злит, а работа... она будет радовать, если найду слова о крепких людях, в крови которых много железа. Ведь железо в крови — это темперамент, это страсть, это потребность действия... Вот что нам нужно! И разве мы бедны такими людьми? А Менделеев, а Сеченов, а Пржевальский, Тимирязев?.. А Мечников, который недавно выступал в Париже на конгрессе? Его доклад о теории воспаления гремел, как вещание пророка Ильи! Ведь борьба за научную истину — это борьба за счастье человечества. Вот о каких людях надо писать!

— И напишите, Антон Павлович, напишите!

— Поздно, сударыня, поздно мне! Можно гнать коня по нашим дорогам год за годом, но в конце концов он

[1] измождённый — усталый

остановится, понурив голову и виновато глядя на хозяина.

Вечером Антон Павлович просил Лику петь, но она всё отнекивалась, говоря, что музыка теперь расстраивает её, ведь музыка — всегда напоминание, как и аромат цветов, а ей надо забывать своё прошлое. И всё-таки согласилась пропеть серенаду Браги, аккомпонируя себе на рояле.

И на этот раз серенада взволновала Антона Павловича: не сокровенная красота жизни спасает людей, но сами люди создают красоту великими подвигами своей воли.

И Чехов сказал Лике:

— Нет, Лика, вы прежняя, милая и добрая, а я пойду в монастырь, стану архимандритом[1] и вымолю вам тысячу пудов счастья.

Лика болезненно улыбнулась, что-то неясно сказала и быстро вышла из комнаты.

А на другое утро она уезжала в Москву.

Антон Павлович и Маша опять стояли у калитки, смотрели, как катился экипаж по лесной дороге, как исчезало белое платье Лики в солнечной зелёной мгле...

Пришёл август, холодный, дождливый. В саду стало нелюдимо, вода в пруде казалась чёрной.

Антон Павлович собрался на юг Франции — в Биарицу, Ниццу, где море и пальмы, где итальянские песни и лёгкий прозрачный воздух. Но все вспоминался ему другой край, другое море: Феодосия, сернисто-жёлтые пустынные холмы, обширный залив, маяки... Далёкие годы, беззаботность, простое веселье. Теперь Чехов называл это счастьем, а это была — молодость.

И ещё прошли годы.

Сестра Маша стояла на коленях у края могильной ямы и, будто в страшном сновидении, видела, как опускали в могилу гроб с телом Антоши. Едва слышала пение «Вечной памяти» многотысячной толпой.

А вечером пришла к Маше и матери Антона Павловича Лика. Она была смертельно бледна, глаза на окаменелом лице казались тёмными ямами. Она молча стояла у окна и не отвечала, когда к ней обращались.

[1] архимандрит — высшее звание монаха, обычно настоятеля монастыря

Простояла так два часа, потом быстро подошла к матери и сестре умершего, молча крепко поцеловала их и ушла.

ИННА ГОФФ

«ЦВЕТЫ ДЕВИЦЫ ФЛОРЫ»

(Рассказ)

Горький, Щепкина-Куперник[1], Станиславский[2]... Мы читаем мемуары и видим Чехова, каким он предстал глазам своих современников — друзей и родных. Но мемуары — по своему существу жанр субъективный. Между нами и Чеховым стоит непременный посредник — автор воспоминаний.

Короленко, Авилова, Иван Щеглов...

Листаю страницы — и вдруг в перекрещённом свете воспоминаний двух разных лиц об одном и том же отчётливо и близко вижу самого Антона Павловича, как бы раздвинувшего завесу мемуарного далёка...

Случилось маленькое, но драгоценное открытие, которым я и хочу поделиться.

Он лежал в клинике профессора Остроумова, в одиночной палате на втором этаже. За окнами серенький, как воробышек, московский март, голые ветки тополей. Говорят, река уже тронулась.

Какая нелепость! Приехать в Москву, назначить свидание женщине и оказаться в клинике... Ему было так плохо, когда кровь пошла горлом, что в первые минуты он забыл обо всём. Забыл о том, что просил её прийти в гостиницу. Он уже тогда чувствовал себя нехорошо, иначе не решился бы сделать ей такое предложение. И теперь, лёжа в палате и глядя на голые ветки за окном, он думал: «Пришла бы она? А зашифрованная надпись на брелоке, подаренном ему: «Если тебе понадобится моя жизнь, приди и возьми её»? Что надпись? Слова. Слова, изображённые графически, и только...

[1] Щёпкина-Куперни́к Татьяна Львовна (1874—1952) — русская советская писательница, переводчица

[2] Станисла́вский (Алексеев) Константин Сергеевич (1863—1938) — советский режиссёр, актёр, педагог, теоретик театра, народный артист СССР.

Можно ли верить словам?

Она написала ему в Мелихово, что приедет в Москву в конце марта. Они условились о встрече. Он хотел увидеть её. Он часто думал о ней, вспоминал пушистую тяжесть её золотой косы, которую ощутил в своей руке в первый день знакомства. Он никогда не видел таких кос. Мог ли он подумать, что она замужем, что у неё ребёнок...

«Девица Флора» — так шутя представил её хозяин дома, муж её старшей сестры. Она была молода, румяна, очень стройна. Оказалось, что она пишет рассказы. Ему нравились женщины, которые умели учить детей, писать рассказы, играть в театре. Она присылала свои рассказы ему. Он отвечал доброжелательно, иногда раздражался и тогда писал язвительно: «То, что есть Дуня, должно быть мужчиною. Сделайте Дуню офицером, что ли...» Она обижалась. И он утешал её: «Уступаю, оставьте Дуню, но утрите ей слёзы и велите подпудриться».

Они встречались редко, порой случайно — в театре, на юбилее. Он всегда угадывал: сейчас, через минуту, он увидит её, она где-то здесь, рядом... И она действительно появлялась. Встречи волновали. И было странное чувство: как будто они были близки когда-то, в какой-то другой жизни, и вновь нашли друг друга после долгой разлуки. Он сказал ей об этом. И они принялись фантазировать. Они были молоды. И любили друг друга. И погибли при кораблекрушении. «Мне даже что-то вспоминается», — сказала она смеясь.

Ей было тогда двадцать семь лет, ему — тридцать два года. Прошло пять лет. Переписка, случайные встречи, размо́лвки[1], недомо́лвки[2].

Он всё ещё не знает, кто она ему и кем могла бы для него стать.

Эта встреча должна была всё решить...

И вот он в клинике и даже не знает, получила ли она его записку, которую он послал ей из гостиницы с посыльным, «кра̀сной ша̀пкой»[3].

Пришла бы она?

Большая галка опускается на ветку тополя. Ветка

[1] размо́лвка — nesaskaņa

[2] недомо́лвка — visa neizteikšana; mājiens

[3] «кра́сная ша́пка» — особая разновидность быстрого посыльного

легко раскачивается под ней. Должно быть, птице это приятно.

Его мир ограничен двумя окнами и деревьями — тополем и липой. На тополе уже позеленела кора, набухли почки. На пàсху[1] выглянут первые листья, зелёные и клейкие, потом землю усыплют красноватые, похожие на гусениц серёжки, полетит белый пух... Липа ещё не пробудилась. Пробудится ли она? Весной умирают старые деревья. Идёшь по аллее, и вдруг мёртвое дерево. Так было с той старой берёзой в Мелихове.

Осенью она сбросила в последний раз свою золотую листву и вскоре застыла по колено в снегу, ничем не отличаясь от своих подруг, соседних берёз. И только весной, когда ожили и зашумели деревья, все увидели, что берёза мертва и ни первый гром, ни голоса птиц не в силах её разбудить.

Голова кружилась, и он закрыл глаза. Как он слаб! Не верится, что всего несколько дней, как он приехал в Москву из Мелихова. Сейчас ему трудно пошевелить рукой, поднять голову с подушки.

Он лежал с закрытыми глазами и потерял счёт времени. Внезапно он очнулся от ощущения радости. Он это запомнил отчётливо. Он не мог перепутать. Всё было именно в такой последовательности — сначала ощущение радости, а потом слова: «Антон Павлович! К вам пришли».

Её не хотели впустить. Он настоял.

«Он лежал на спине, повернув лицо к двери», — вспоминала она потом.

«Как вы добры», — тихо сказал он.

Она села на стул около его кровати, взяла с тумбочки часы, — ей разрешили побыть около него три минуты. Он отнял часы и, задержав её руку, спросил: «Скажите: вы пришли бы?»

«К вам? Но я была, дорогой мой...»

Она могла ничего больше не говорить. Могла уйти, не ожидая, пока пройдут отведённые для них минуты свидания.

Он был счастлив. И знал, что это счастье будет с ним и после, когда она уйдёт и он останется один. «Но я была, дорогой мой...»

[1] пáсха — lieldienas

Её голос, взгляд её серых глаз, устремлённых ему в лицо с тревогой и нежностью. Она была всё так же хороша. Её красота стала как-то значительней с годами. Слабый запах духов, смешанный с мартовской свежестью, наполнил комнату.

Он держал её руку. «Так завтра непременно приходите опять. Я буду ждать. Придёте?»

Она обещала. Ему хотелось озорничать. «Вы похожи на гастролёршу!» — крикнул он ей вслед.

Она ушла, а он думал о ней, вспоминал их немногие встречи. В театре, когда она убежала, не досмотрев пьесы, не позволив ему проводить себя, и на его просьбу поговорить, встретиться — «это необходимо» — засмеялась как-то зло и мстительно. Она сердилась на него: он не ответил на посланный ею брелок. Но как ответить, если тебе предлагают жизнь — «приди и возьми её». Благодарить? Смешно.

Нет, тут можно только одно — отдать свою жизнь взамен. «А в общем, — подумал он тогда, — это годится для пьесы...»

Вспоминал её в маскараде, в костюме домино, который был ей коротковат. Она говорила ему «ты», как это диктует закон маскарада. Они пили шампанское в пустой ложе, и она призналась, что любила его. Слова лились свободно, легко. Слишком легко. Ему казалось, что она играет, — на женщин так действует эта смесь таинственности и откровенности, этот блеск, огни и, главное, музыка, музыка...

Он всегда боялся громких слов. Особенно в любви. Он считал, что любовь должна выражать себя как-то иначе. Может быть, молчанием. И он сказал, что она артистка, что он знает её в драматических ролях. Он так долго и упорно дразнил её, что она почти поверила, будто он обознался. Он повторял: «Я не знаю тебя, маска». И она не поняла прямого и ясного смысла его слов: «Я не знаю, что ты за человек. Могу ли я верить тебе? Правда ли, что ты любила меня? Или ещё любишь?» Она добивалась: за кого он принимает её? Не за Яворскую ли?..

Да, она часто не понимала его или, казалось ему, не хотела понимать из какого-то женского упрямства.

Он лежал в одиночной палате, на спине, закрыв глаза, и как будто вслушивался в ещё звучавшей для него негромкий голос: «Но я была, дорогой мой». Так

мог сказать только очень близкий, очень родной человек. Жена.

Он был возбуждён. Его лихорадило[1]. Ночью часто просыпался, и с каждым разом всё светлей проступали высокие, разграфлённые переплётами окна, всё чётче видны были деревья.

Рассвет был розовый, ослепительно яркий после долгих пасмурных дней. Солнце залило палату, жарко горели стёкла, блестели влажные ветки тополя. Где-то рядом, видимо на карнизе[2], чирикали воробьи, радуясь теплу. К полудню солнце ушло из палаты, но во всю силу сияло за окнами, золотило стволы.

Он попросил зеркальце — хотел причесаться, но сестра сама причесала его, сказав, что доктор запретил ему шевелиться

Какие мягкие волосы! — сказала сестра. — Сразу видно: добрый человек.

Они и правда были у него мягкие, тонкие. Распадались, образуя пробор.

Он поймал зеркальцем солнечного зайчика и пустил его по стене, по потолку.

— Ну, ну, забавляйтесь, — сказала сестра. — Это вам можно.

«Зайчик, живая капля солнца, прыгал по стене, забирался на потолок, исчезал и вновь появлялся. Неужели отныне вся жизнь будет определена словами: «Это вам нельзя», «Это вам можно»?

Он смотрел на часы. Без четверти два. В два она обещала быть. Вот уже два без пяти. Два и одна минута. И ещё пять минут...

Она пришла, опоздав на семь минут, и он упрекнул её в неточности.

«Я ждал, ждал...»

Она принесла цветы, его любимые — ландыши и розы. Цветы в марте! Розы были ещё в бутонах, ландыши только разворачивали свои зеленоватые бубенцы. Сестра поставила их в вазочку с водой. У неё был недовольный вид: душистые цветы в палате легочного больного?

Они остались вдвоём. Он невнимательно проглядел рукописи, которые она принесла по его просьбе. Ему жаль

[1] лихорадило — kratīja drudzis

[2] карниз — dzega

было отрывать время у недолгого их свидания. Сейчас она была для него всем: голубизной и щебетом птиц, обещанием жизни, его надеждой...

Спустя годы она вспоминала:

«— Когда вы едете? — спросил он.

— Сегодня.

— Нет! Останьтесь ещё на день. Придите ко мне завтра, прошу вас. Я прошу!»

Она показала ему телеграммы. Все три. Её ждали дома, в Петербурге. Телеграммы были нервные. В их настойчивости сквозило[1] нетерпение, каприз.

Когда она ушла, он думал: зачем она показала мне телеграммы? Чтобы оправдать свой отъезд? Доказать лишний раз, как её любят и ждут там, как она там необходима?..

Она боролась с собой. Она произнесла «не могу» почти шёпотом, не глядя ему в глаза. А ведь он просил об одном дне! Только об одном!

Что ж, он оказался прав. Громкие фразы годятся больше для пьесы, чем для живой жизни.

Она ушла, и двери тихо захлопнулись за ней. Остались цветы в вазочке. Свежо пахли ландыши, распускались розы. Было грустно на душе. Что-то кончилось в его жизни. Он знал, что больше никогда не назначит ей свидания и та, несостоявшаяся встреча в Большой Московской никогда не состоится. Границы её чувства к нему определились беспощадно и отчётливо.

Цветы стояли долго. Розы распустились все до одной. Сначала сестра аккуратно меняла цветам воду, а потом он сам, когда ему разрешили вставать. Десять дней спустя, когда его приятель драматург Иван Щеглов пришёл проведать его, цветы были ещё хороши.

Впоследствии Жан — так называл он в шутку Щеглова — напишет в своих воспоминаниях:

«— А это у вас от кого? — кивнул я на букет, украшавший больничный столик. — Наверно, какая-нибудь московская поклонница?

— И не угадали: не поклонница, а поклонник... Да ещё вдобавок московский богатей, миллионер.

Чехов помолчал и горько усмехнулся:

— Небось и букет преподнёс, и целый короб всяких комплиментов, а попроси у этого самого поклонника

[1] сквози́ть (*перен.*) — būt manāms, jūtams

«десятку» взаймы — ведь не даст! Будто не знаю я их... этих поклонников!..

Мы оба помолчали.

— А знаете ли, кто у меня вчера здесь был? — неожиданно вставил Чехов. Вот сидел на этом самом месте, где вы теперь сидите.

— Не догадываюсь.

— Лев Толстой!»

На самом деле Лев Николаевич был здесь уже давно, больше недели тому назад.

Заговорили о Толстом, о поездке на кумыс. Антон Павлович проводил Щеглова по больничному коридору, до дверей. Возвращаясь в палату, думал: «Славный он малый, Жанчик. Но зачем он пишет пьесы? Писал бы рассказы. Впрочем, пьесы — штука менее тонкая, а Жанчик в тонкостях не мастàк»[1].

Как-то Жан сделал замечание по поводу «Степи», того места, где мальчик Егорушка вспоминает покойную бабушку: «До своей смерти она была жива и носила с базара мягкие бýблики...»[2] «До своей смерти она была жива...» Жан был очень горд, что отыскал эту «стилистическую небрéжность»[3]. Не хотелось спорить, говорить об особенности детского восприятия. Проще сделать вид, что согласился. Кажется, Жан и теперь поверил, что цветы преподнёс миллионер...

Он вспоминал свой экспромт в защиту её цветов и усмехнулся. Почему он придумал миллионера? Но разве не была она миллионером в тот день?..

Он чувствовал себя лучше. Ему разрешили гулять, и он ходил в Новодевичий монастырь, бродил по аллеям, среди могил, вдоль красных кирпичных стен, слушал пение птиц. Иногда останавливался и, задрав голову, смотрел на зелёный пух листвы, на горящие на солнце золотые купола.

Улыбался и хмурился...

В конце апреля он был уже у себя в Мелихове. Он написал рассказ «О любви», задуманный ещё в Москве во время прогулок.

Она узнала себя в героине и прислала ему письмо, резкое и несправедливое.

[1] мастáк (*прост.*) — lietpratējs

[2] бýблик — baranka

[3] небрéжность — paviršība, nevērība

«Писатель, как пчела, берёт мёд откуда придётся...»

Он читал письмо с удивлением. Ещё не утихла боль. Он писал для неё. Она не поняла, не отозвалась на слова признания: «Я чувствовал, что она близка мне, что она моя, что нам нельзя друг без друга...»

Он ответил сухо. Письмо начал без обращения. Он писал, что поедет в Крым, на Кавказ. «Значит, в Петербург не попаду». И в ответ на её упрёк о цветах и пчёлах: «Вы несправедливо судите о пчёлах. Пчела сначала видит яркие, красивые цветы, а потом уже берёт мёд. Что же касается всего прочего — равнодушия, скуки, того, что талантливые люди живут и любят только в сфере своих образов и фантазий, — могу сказать одно: чужая душа потёмки.

Погода скверная. Холодно, сыро...

Будьте здоровы и счастливы».

Спустя два года появился в печати рассказ «Дама с собачкой» — один из лучших в мире рассказов о любви.

Свидания в гостинице, посыльный — «красная шапка», бегство из театра посреди спектакля. И опять — «они любили друг друга как очень близкие, родные люди...».

И женщина — молодая и не защищённая рассудком, не избежавшая трудной любви, любви, где страдание и счастье так перемешаны, что нельзя понять, где кончается одно и начинается другое.

Это был рассказ о том, чего не было и что могло быть между ними. Но она должна была стать другой.

И он написал её, другую.

О такой женщине он мечтал, на такую любовь — сильную и горькую — был готов душой.

Лидия Алексеевна Авилова прочитала рассказ и в этой другой женщине себя не узнала.

СОДЕРЖАНИЕ

Тургенев Иван Сергеевич 6
Ранние метели. *Юрий Гаецкий* 6
Явленье юбиляра. *Леонид Мартынов* 58

Чернышевский Николай Гаврилович 59
Повесть о Чернышевском. *Нина Чернышевская* 59

Некрасов Николай Алексеевич 96
Властитель дум. *Александр Таланов* 96
Вечер с Некрасовым. *Юхан Смуул* 108

Достоевский Фёдор Михайлович 121
Сквозь сумрак белых ночей. *Марианна Басина* 121
Баллада о Фёдоре Достоевском. *Леонид Мартынов* . . 151

Толстой Лев Николаевич 153
На четвёртом бастионе. *Валериан Захаржевский* . . . 153
Яснополянские этюды. *Галина Езерская* 162
Лев Толстой. *Ярослав Смеляков* 173
Беспалов, топтыгин и Лев Толстой. *Григорий Медведев* 173

Чехов Антон Павлович 181
А. П. Чехов. *Максим Горький* 181
Доктор Чехов. *Валериан Захаржевский* 199
«Цветы девицы Флоры». *Инна Гофф* 213

СВЕРКАЮЩЕЕ СЛОВО

ТЕКСТЫ ДЛЯ ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ
ПО РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ В 10-М КЛАССЕ

Составитель Александр Николаевич Семёнов

Рига «Звайгзне» 1987

На русском и латышском языках

MIRDZOŠAIS VĀRDS

Vāku zīm. E. Groševs. Redaktore V. Pužule. Māksl. redaktore G. Brakovska. Tehn. redaktors J. Čakšs. Korektore Z. Dārzniece

ИБ № 3830

Nodota salikšanai 25.12.86 Parakstīta iespiešanai 17.06.87. Formāts 84×108/32. Tipogr. papīrs Nr. 2. Literatūras garnitūra. Augstspiedums. 11,76 uzsk. iespiedl., 11,97 uzsk. krāsu novilk., 12,18 izdevn. l. Metiens 15 000 eks. Pasūt. Nr. 134. Cena 35 kap. Izdevniecība «Zvaigzne», 226013, Rīgā, Gorkija ielā 105. Izdevn. Nr. 7118/KS-559. Iespiesta Latvijas PSR Valsts izdevniecību, poligrāfijas un grāmatu tirdzniecības lietu komitejas tipogrāfijā «Cīņa», 226011, Rīgā, Blaumaņa ielā 38/40.

Mirdzošais vārds=Сверкающее слово: Teksti
Mi 765 ārpusklases lasīšanai krievu literatūrā 10. klasē / Sast. A. Semjonovs. — R.: Zvaigzne, 1987. — 121 lpp.

Krājumā ievietoti krievu padomju rakstnieku stāsti un dzejoļi. Tajos stāstīts par mācību programmā paredzēto 19. gadsimta otrās puses krievu rakstnieku dzīvi un daiļradi.

Krājums domāts ārpusklases lasīšanai skolās ar latviešu mācību valodu.

M $\frac{4306020300-150}{M802(11)-87}$ 87

83.3K7z721

35 к.